

The book cover features a central black silhouette of a man in a suit and tie against a bright yellow background. Surrounding this central figure are several black and white historical photographs: top left shows a woman in a military cap; top right shows Franklin D. Roosevelt with a 'CBS NEWS' sign; middle left shows soldiers in uniform; middle right shows a group of men, including one with a swastika armband; bottom left shows two men in military uniforms waving; bottom right shows a line of soldiers. A small image of interlocking gears is positioned above the title.

**Вячеслав РЫБАКОВ**

# НА МОХНАТОЙ СПИНЕ

РОМАН



ЛИМБУС ПРЕСС  
Санкт-Петербург

Вячеслав Рыбаков

**На мохнатой спине**

«Издательство К.Тублина»

2016

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос-Рус)6

**Рыбаков В. М.**

На мохнатой спине / В. М. Рыбаков — «Издательство  
К.Тублина», 2016

Семейная драма персонажей книги разворачивается на фоне напряжённого политического противостояния СССР и западноевропейских держав, в котором главный герой по долгу службы принимает самое непосредственное участие. Время действия – между заключением Мюнхенского соглашения четырёх западных держав о передаче Судет Гитлеру и вводом советских войск на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. Что это: историческая реконструкция? политическая фантастика? эротическая драма? актуальная аллюзия на переломные события минувших дней? Всё вместе. Такова новая книга Вячеслава Рыбакова, последние пять лет хранившего интригующее литературное молчание.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос-Рус)6

© Рыбаков В. М., 2016  
© Издательство К.Тублина, 2016

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Она пришла                        | 6  |
| Счастливая семья                  | 18 |
| А поговорить?                     | 32 |
| Властители дум                    | 41 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 46 |

# **Вячеслав Рыбаков**

## **На мохнатой спине**

© ООО «Издательство К. Тублина», 2016

\* \* \*

## Она пришла

Мне пятьдесят девять лет. Я ответственный работник Наркомата по иностранным делам. Меня ценят и уважают. Я спятил. Я влюбился в девушку своего сына.

Он впервые привёл её в дом не в самый удачный день.

Я устал за сентябрь, как белка в сломанном колесе, но это бы ладно; хуже то, что наши долгие отчаянные усилия, так похожие на попытку остановить танк руками, завершились тем, к чему все, кроме нас, и стремились. Танк пошёл. Еле руки успели отдёргнуть.

Я люблю уставать.

Сызмальства помню: бездонная синева по осени горит, подождённая ослепительно сухим и жёстким солнцем; солнце клонится к дальнему лесу, а ты, закинув за голову руки, блаженно валяешься на земле и смотришь в синеву, как равный. Ведь выкопана и разложена вся картошка, и сметённая в стожок ботва (в наших краях её почему-то называют тиной) ждёт огненного превращения в плодоносную золу.

Тело, жаждущее вкалывать, но с пользой, пронесло память об этом счастье сквозь кровь и голод, партконференции и диппредставительства и хочет, чтобы снова, чтобы так всегда. Просто и ясно, и полно смысла. Труд и его плоды.

А когда труды бесплодны, тоска раздирает так, что хоть душу вырви и кинь в помойку. От бессилия перестаёшь быть взрослым, хочется прижаться к маме и заплакать: я не виноват, я старался...

То, что в семье я ни о чём рассказать не мог, – это полбеда, это понятно: гостайна. Но даже угрюмой апатии нельзя было себе позволить. Надо улыбаться, держать радость, оберегать семейное тепло. Ведь стоит его раз упустить, и уже не восстановишь, как было. Свинцовая память о разьединении, пусть и недолгом, точно осколок вражьего снаряда навсегда застревает у сердца, откуда вынимать его не отважится ни один хирург. Потому что невозможно, сердце распорешь.

И я улыбался.

Смотрелись рядом Серёжка и Надя странновато.

Сын даже дома предпочитал ходить в форме. По-моему, ему элементарно нравилось тугое, мужское поскрипывание ремней. Гордился, простая душа. Он ещё в училище в форму врос, а уж с тех пор, как на его голубой петлице, рядом с крылышками, красной длинной брызгой уселась первая шпала, да после того, как Коба произнёс своё знаменитое «Люблю я лётчиков, и должен прямо сказать – за лётчиков мы горой», Серёжка разве что спать в форме не ложился. Может, и ложился бы, если бы не боялся помять.

Надежду я впервые увидел в новомодных брючках из грубой американской холстины, сидящих в облип, точно синяя чешуя; в таких, чтоб защемить ножками мужскую душу, и раздеваться не надо, и я, помню, подумал: стройненькая – и порадовался за сына. Но этим меня ещё не проняло. Хотя, может, я лишь по первости не ощутил перемены в себе; так, подцепив смертельный вирус, человек некоторое время живёт, как живой, смеётся, играет с детьми, читает умные книги и подписывает важные документы, планируя на завтра совещание и на послезавтра театр, и не ощущает ни жара, ни слабости, ни тревоги; но какая-нибудь Эбола у него в крови уже чавкает всюю, и никакого послезавтра у него на самом деле нет, а завтра – такое, что и его лучше бы не было.

Ворот блузки у неё оброс воздушными фестончатыми финтифлюшками, и рядом с их колыханием даже комсомольский значок на дерзко высокой груди смотрелся какой-то изысканной, неведомой ювелирам брошью.

А выше финтифлюшек, слепящим ударом изнутри – нежная кожа хрупких незагорелых ключиц. Таких беззащитных, что, стоит глянуть хотя бы мельком, пересыхает в горле.

Лица у них тоже были что твои единство и борьба противоположностей.

Серёжку увидишь, и сразу ясно: вот человек, которому хоть сейчас можно доверить хочешь эскадрилью, хочешь авиаполк. Но ни в коем случае – никаких двусмысленных операций, никаких конфиденциальных переговоров с намёками, обиняками и недоговорками. Что ему там скажут – он просто не поймёт и, слушая розовые и округлые, как буржуйские ляжки, фразы, решит, будто у него теперь на одного верного друга стало больше; а сам ответит так, что лучше бы уж сразу отбомбился. Я-то знал: в свои двадцать пять он стал немножко умнее своей скуластой, вихрастой, честной, как булыжник, физиономии; но если бы не ремни да петлицы, его и теперь можно было принять за подпаса-переростка, что забрёл в город, заблудившись в поисках пропавшей бурёнки.

У Нади лицо было, что называется, интеллигентное. У нас же с некоторых пор как: нос картошкой, волос рус – простонародное лицо; нос с горбинкой, и вообще анфас с профилем подальше от нюшек, грушек и парашек, поближе к ядвигам, эсфирям и шаганэ – интеллигентное лицо. Поступь истории. Интеллигенты с носами картошкой либо давно сгнили в расстрельных ямах чрезвычайек, либо мыкали свои таланты по европейским задворкам и, ошеломлённые кособокостью большевистского интернационализма, кто сознанием, кто подсознанием мечтали о русском Гитлере.

Молодые влетели в дом, и стало тесно и весело. Они гомонили и сверкали сразу со всех сторон. Они искрились и бурлили, как шампанское. Когда я спросил, где они познакомились – вопрос вроде бы проще некуда, одной фразой можно ответить, – они лишь коротко переглянулись (её длинные волосы тяжело и пышно мотнулись от плеча к плечу, потом обратно) и, миг договорившись без слов, построились, изобразили руками, будто идут в штыковую, тыча воображаемыми трёхлинейками в воображаемого врага, и запели хором:

– Возьмём винтовки новые,  
На штык флажки!  
И с песнею в стрелковые  
Пойдём кружки!

И сами же расхохотались, снова с наслаждением переглядываясь. И только потом Серёжка соблаговолил:

– В стрелковом клубе, прикинь!

Незамутнённая жизнь, только-только кинутая ввысь трамплином детства, вся в предвкушении неизбежного счастья, превращала их в праздничный фейерверк. В нашей буче – молодой, кипучей... Они и были этой бучей, вдруг ворвавшейся к нам, а мы с женой оказались в ней, как унесённые ветром. Жарким весёлым ветром. Взмело – лети.

Уже садясь за стол и приступая к многозначительному семейному чаепитию, Надежда всё же решила пояснить. Видимо, обеспокоилась, что мы, не ровён час, подумаем, будто она, как простая работница с обложки журнала «Работница», могла пойти учиться стрелять, чтобы всего лишь научиться стрелять. На случай, мол, войны. «И если двинет армии страна моя...» Нет, что вы, у меня же интеллигентное лицо. И вообще я вся такая.

– Мне зачётную статью надо писать на свободную тему, вот я и решила про стрелковые клубы. Социальный состав участников, динамика численности, рост боевой подготовки... Ну, а заодно...

– Она журналисткой будет, – уважительно поддакнул Серёжка и уселся, с видимым удовольствием скрипнув ремнями.

Для людей в летах, попавших в бучу, есть два выхода. Если уже махнул на себя рукой – отстраниться; мол, ну, молодёжь, вы тут развлекайтесь, а я пойду полежу, зубы на полку положу. Точнее, кости. Но если потянет подпитаться их электричеством, захмелеть на их

пиру – приходится делать вид, что ты ещё как они. То есть как новенький. Не знаю, решала ли эту дилемму Маша – вряд ли, она была слишком занята: метала на стол свои знаменитые плюшки с корицей, только что дошедшие до кондиции в электрическом духовом шкафу. А мне, расставлявшему блюда и чашки, оставалось лишь втянуть живот и тоже заискриться в меру возможностей.

– О! – с пониманием сказал я. – ТАСС уполномочен заявить!

Надя чуть порозовела. Видно было, что до самых ключиц. А может, и ниже, но тут уж блузка не давала убедиться, и только воображение, тоже раскрасневшись и запыхав, подсказывало: до самого того, что под комсомольским значком... Стало ясно: Телеграфное агентство Советского Союза – её мечта, её зенит небесный.

– Может, и не сразу ТАСС... – скромно сказала она.

– В ТАСС только проверенных берут, – сообщил Серёжка с видом знатока. – Кто умеет и не соврать, а всё равно приободрить. стакан наполовину полон – пожалуйста в ТАСС. стакан наполовину пуст – пойдёшь ещё поучись где-нибудь на ударных стройках... И это правильно, я считаю. Ненавижу нытиков.

Она посерьёзнела.

– Уж не знаю, кто как, а я буду писать только достоверные факты. Только правду. А уж бодрит она дураков или нет – не мои проблемы. Умным главное – правда.

Поддерживать семейный разговор за столом – это святое. Но я, вспоминая тот вечер, так и не мог никогда уяснить для себя: я начал распускать хвост оттого, что вирус уже выплеснул в кровь первые токсины, или всего-навсего честно старался беседовать с молодёжью об их умном и важном, да кстати поспешил воспользоваться довольно редким случаем ненавязчиво повоспитывать взрослого сына, коль воспитывать его обычными средствами давно поздно?

К тому же я зануда, я знаю.

– Тогда давайте потренируемся, – сказал я. – В двадцать, например, седьмом году боевиками Русского Общевоинского Союза совершено на территории СССР более девятисот террористических актов. Это факт, Надежда. Это – факт. Можешь где хочешь проверить.

– С ума сойти... – потрясённо сказал Серёжка. – Почти тыщу? Вот же гады... Я не знал... я тогда ещё маленький был... Слушай, пап, это правда?

Я молчал.

– Ну? – ещё не понимая, нетерпеливо спросила Надежда.

– Правда ли это? – спросил я.

Она опять покраснела, и это было так пригоже, так по-девичьи, что хвост у меня, скорее всего, начал распускаться сам собой. А я этого вовремя не осознал и не пресёк.

– Не понимаю... – сказала она после паузы.

Серёжка, слегка набычившись, смотрел на меня настороженно: не обижу ли я его ненаглядную. А закончившая с плюшками жена, подперев подбородок кулачком и демонстративно предоставляя молотить языком мне, уставилась на гору своих творений, что, медленно остывая, дышали на всю гостиную сладким духом уютного домашнего изобилия.

– Правда тут будет вот какая: сметённые со столбовой дороги истории озверевшие последыши белогвардейщины в своей бессильной злобе не останавливаются и перед самыми гнусными преступлениями, тщетно пытаюсь замедлить уверенную поступь народов СССР в светлое будущее. Более девятисот борцов за народное счастье пали от подлых ударов в спину... Или как-то так.

Серёжка облегчённо перевёл дух.

– А, ты об этом, – сказал он. – Ну, это конечно...

Однако Надежда уже поняла, что я только, что называется, загрузил, и тренировка не закончена. Она молчала и смотрела выжидательно.



– Но ведь для кого-то может, как ни крути, быть и вот такая правда, – сказал я. – Русские герои, словно былинные богатыри, не складывают оружия в священной борьбе против захвативших Отчизну жидовских кровососов. Более девятисот большевистских преступников были казнены смельчаками, готовыми, не задумываясь, жертвовать своими жизнями ради освобождения Матушки России от коммунистического ига.

У Серёжки отвалилась челюсть. Маша приподняла подбородок с кулачка и нахмурилась. У Надежды красиво приоткрылись губы, и глаза стали... Не знаю, как сказать. Словно она вдруг обнаружила, что Земля круглая.

– Пап, ты чего... – сказал сын.

Я-то был уверен, что говорю это всё ради него. Я даже и смотрел-то тогда больше на него, чем на неё, и всё ещё полагал, будто я вышестоящий мудрец.

– Фактов пруд пруди, их подбирать легко, – сказал я. – Более важные, менее важные... Более эффектные, менее эффектные... Какие надо. Но иногда приходится выбирать между правдами. В жизни, наверное, это самый важный выбор.

– А вы как выбираете? – негромко спросила Надежда.

– Чай пейте, – сказала Маша. – Плюшки берите. Остывает.

Я поднял блюдо с её фирменным лакомством и подал сначала Надежде, потом сыну. Надежда аккуратно взяла одну, Серёжка по-хозяйски сгрёб сразу три. И одну положил своей девушке на её блюдце.

– Мой давний друг, – неторопливо начал я, – отличный фронтовой товарищ, в двадцать втором внезапно решил, что тут он не за то боролся, и поехал бороться за то и туда. В Палестину, укреплять общины поселенцев. Он мне потом писал очень искренне, что, когда ехал, думал так: вот, есть правда двух народов, у каждого своя, и надо искать взаимопонимание и компромисс. А через год написал, что понял: одна из этих правд – это правда его народа, а другая правда – правда народа чужого.

– Но это подло... – сказала Надежда.

– Не знаю, – ответил я. – По-моему, как раз честно. Предельно честно в таком положении. Куда подлее те, кто, про себя делая этот же выбор, вслух продолжают твердить, что они, мол, отстаивают общечеловеческие ценности и таки ищут взаимопонимание и компромиссы.

– Ну, ты вообще... – пробормотал Серёжка.

Судя по его брезгливо оттопыренной нижней губе, о подобных подонках и говорить-то не стоило.

– Возьмём для примера такой тезис: «Палестина есть исконно еврейские земли». Для тех, кто принадлежит соответствующей традиции, он является бесспорной истиной и не нуждается в доказательствах. Человек слышит и сразу согласен всем сердцем: ну разумеется, а как же? Для тех, кто принадлежит к иной традиции, он столь же бесспорно является ложным и злокозненным. И, что характерно, никакие рациональные доказательства, никакие экскурсии в историю и культуру таких людей не переубедят, а лишь разозлят. Нет никакой надежды оценить эту правду извне культуры, объективно, сверху. Решает единственно принадлежность к культурной традиции, потому что именно она и делает народ народом. Тем или другим.

– Ох, – не выдержала Маша.

Мне оставалось ей лишь подмигнуть. Но остановиться я уже не мог.

– Даже если наше утверждение предложить кому-то, кто до сих пор про Палестину и евреев вообще слыхом не слыхивал, он не останется непредвзятым. Он может из равнодушия или, например, из лени принять ложность этого тезиса, чтобы всё осталось, как было, и не пришлось ни о чём думать и ничего решать. И может, скажем, из сочувствия к евреям или желания вставить пистон гордому Альбиону, под чьим мандатом заваривается вся эта пале-

стинская каша, принять его истинность. Но и то и другое всё равно не будет иметь никакого отношения к объективности.

Серёжка спросил:

– А что имеет к ней отношение?

– А зачем она? – вопросом на вопрос ответил я.

Сын буквально шарахнулся от меня.

– Да ты что?

– Тот, кому на всё плевать, – пояснил я, – и кто не собирается даже пальцем о палец ударить, может попробовать надуть щёки, выпятить живот и изобразить объективность. Но наша-то задача не этим ангелом во плоти полюбоваться, а придумать, как поменьше злить обычных людей, не ангелов, с обеих сторон. Чтобы количество ненависти и крови в мире не росло, а хотя бы чуток уменьшалось.

Маша, помрачнев, опустила глаза. На кровь мы с ней насмотрелись, и она понимала: я не с бухты-барахты витийствую. Молодёжи подавай справедливость любой ценой. Когда нагладишься на то, как и чем справедливость утверждается, начинаешь некоторые вещи чтить выше неё. Я, во всяком случае, начал.

– Па, что-то ты...

– Однако и это ещё не всё, – проговорил я. – Самый трудный выбор – это когда двумя правдами не два народа разведены, а разорван один.

– Я вот как раз это и хотела сказать, – проговорила Надежда, в первый раз посмотрев на меня с интересом. Или с уважением, что ли. – Вернее, об этом спросить. Вы же с этого начали. Значит, к этому и ведёте, да?

Тут уж пришла пора мне глянуть на неё с уважением. Умненькая какая...

– Именно, – непреклонно согласился я, потому что деваться было некуда. – Тут я бы выбирал так. Надо смотреть, во-первых, в какой правде сохраняется больше места главным, исстари идущим представлениям о том, что хорошо и что плохо, что благородно, а что подло. И во-вторых, где больше отвергается уже неработоспособное старое, но проявляется работоспособное новое. Вот та правда и будет правильная правда, ради которой действительно стоит геройствовать и жертвовать. Потому что, когда эти главные представления или разрушаются, осмеиваются, или, наоборот, упрямо консервируются и уже не налезают на изменившуюся жизнь, люди вообще лишаются представлений о Добре и Зле. И тогда у них не остаётся никаких ценностей, кроме собственного «я» и его ублажения, а стало быть – денег. Тут-то они и пополняют ряды марионеток буржуазии. А буржуазии только того и надо. Поэтому всё, что не продаётся и не покупается, она называет предрассудками. Людей, у которых есть идеалы помимо самоутверждения и обогащения, – отсталыми. И старается всех убедить, что все конфликты в мире из-за этой отсталости. А на деле-то конфликты из-за денег самые лицемерные, жестокие и подлые... Для нас, когда мы выбираем правильную правду, важнее всего, что в условиях капиталистического окружения эффективная самостоятельная экономика, способная встать с этим окружением вровень, может быть выстроена только некапиталистическими средствами. Добуржуазная культура – единственная основа постбуржуазной культуры.

– Культура... – недоверчиво произнесла Надежда. Коротко покосилась на Серёжку и опять уставилась на меня. Будто сравнила нас и что-то прикинула. Как же это, мол, у такого сынишки такой папашка. – Добро и Зло... Слова-то какие старорежимные... – запнулась. – Вы что, из... старых спецов?

Я понял, почему она запнулась после «из». Наверное, хотела спросить: «из попов»? Но вовремя сдержалась. Сманеврировала.

Серёжка открыл было рот, торопясь ответить за меня, но я упредил:

– В какой-то степени.

Я понял: девочка не знает, куда попала. Сын ведь никогда не распускал язык. И не потому, что такой уж темнила, а просто ему казалось нечестным хвастаться отцом. Это я вполне мог понять. К себе надо привлекать внимание собой, а не своим стариком. Как же гадко это звучит: а ты знаешь, у меня папа... Знай, мол, наших. Вот, мол, какой я незаурядный малый – от такого папы родился.

А в доме Надежду, конечно, обманула скромность. Но нам некогда было заниматься благосостоянием, считать квадратные метры, менять мебель, подбирать драпировки по цвету и запаху. Ей-ей, мне хватало того, что есть, и Маше тоже, и инвентарные номерочки на стульях нас не приводили в бешенство, как некоторых партийных скороспелок, что из грязи в князи. Наверное, именно поэтому наша давняя дружба с Кобой так и не треснула. Он тоже был скромняга и тоже не терпел номенклатурных нуворишей, способных без зазрения совести хоть бетон Днепрогэса разбодяжить, лишь бы украсить свой кабинет узорчатой тестикой Фаберже; его бы воля, пересажал бы их всех, и вороватые пальцы знай себе хрустели бы на Лубянке. Только вот беда – узок бы остался круг революционеров... Наверх люди лезут либо чтобы иметь, либо чтобы владеть. Либо чтобы втягивать мир к себе в обиталище, либо чтобы накрывать мир собой, менять его под себя. Под свои представления о Добре и Зле. Иные наверх не лезут. Противно им, суматошно, лживо и грязно наверху... Их там подчас очень не хватает, этих иных, но ничего не поделаешь. Надо уметь ходить к ним за советом туда, где они есть.

Коба, конечно, хотел владеть и менять. Но тех, кто хочет иметь, – больше. Такова жизнь. Таков человек.

А чего хотел я?

Иметь мне было скучно и суетно. А владеть ощущалось как что-то нечистое, стыдное. Я, если уж пытаться найти слово, хотел просто быть, беспрепятственно быть. Таким, какой есть, и никак иначе. Изменяться, конечно, – но не потому, что надо просочиться, взгромоздиться, урвать, угодить или понравиться, а потому лишь, что узнал или понял нечто новое и настолько значительное, что прежним, как ни старайся, не остаться. Делать в мире что-то хорошее – но не так, чтобы мир хрустел, переламываясь, и стонал, прогибаясь, и при том плясал, потому что не плясать страшно, а чтобы сады цвели, где прежде не цвели, и чтобы в каждое сегодня кто-то из людей понимал хоть чуточку больше, чем понимал в каждое вчера. Мне повезло, что я был во всём этом совершенно искренен. Если бы Коба хоть на миг заподозрил, что я, очевидно не желая иметь, могу захотеть владеть, – что греха таить, не собрать бы мне костей. Кремль не богадельня.

А Надя, похоже, решила, что попала в норку заштатного инженера, пожизненного творца овощехранилищ. Физиономией-то я был похож на Серёжку – ну, вернее, он на меня, но это неважно; может, годы и многолетняя привычка изящно обманывать врагов и накинули на меня хотя бы лёгкий флёр интеллигентности, но вряд ли. Морщины морщинам рознь, и седина бывает не только благородной, но и просто мышинного цвета.

Наверное, потому девушка так и поразилась, услышав от меня несоответственные речи. Вот чем я просунулся сквозь ороговевшую от трения об обыденность шкурку её души и воткнулся в живое, сам того не ведая. Совершенно неожиданно для себя.

– И какая же из правд про девятьсот терактов правильная? – помолчав, всё же рискнула спросить Надежда.

Решила дойти до точки. И меня довести.

– Конечно, наша, большевистская, – сказал я.

– Ну и на том спасибо, – с облегчением произнесла Маша. – А то развёл тут поповщину...

Да, мы с нею давно выяснили, что про высшие ценности русской культуры она и слышать не может. Мол, не было таких, и всё. Когда-то и я так считал. Одна только жадность, глу-

пость, леность, жестокость и зависть к более умным и процветающим. В Институте красной профессуры она читала курс «История порабощения русским царизмом окружающих стран и народов». В этом году его переименовали в «Историю России». Вместе со всем институтом, кстати; тот стал Высшей школой марксизма-ленинизма. Но содержание, насколько я знал, не шибко изменилось.

– Понимаешь, Надежда... Конечно, беляки до сих пор то и дело крестятся и в церквях свечки ставят, это факт.

– Вы сами видели?

– Представь, доводилось... Так что вроде бы это они – защитники исконных ценностей. Но вот вопрос: как их отстаивать в посюстороннем мире, если государство не то что свои ценности, а даже себя защитить не способно? Ведь их государство было ни на что уже не способно. Умные люди были, честные люди были, а всё как-то вязло. Финансы французские, уголь английский, машины немецкие, даже нефть – наша, бакинская – и та у Ротшильда и Нобеля. И никого из них обидеть не могли. Не то останешься без угля, без машин... Приди белые к власти, пусть даже и без царя, – волей-неволей устроили бы из любимой Матушки России что-то вроде нынешнего гоминьдановского Китая: глухую периферию мировой капиталистической системы, бессильную распадающуюся компрадорскую полуколонию. Тогда крестись не крестись – кроме как про фунты да франки ни во дворцах, ни в хижинах, ни в церквях никто бы и думать не умел. А мы опираемся на всё лучшее, что история веками в нас воспитывала, – товарищество, бескорыстие, верность, пренебрежение мирскими благами – и применяем для создания самостоятельного государства с сильной наукой и промышленностью. А оно, в свою очередь, всё это наше вечное способно защитить. Получается, что будущее на нашей стороне, а мы на стороне будущего. Вот увидишь, раньше или позже мы и китайским товарищам поможем скинуть Чан Кайши, и тогда коммунистический Китай тоже расцветёт... Применяя, конечно, не нашу, а свою исконную культуру ради цементирования своего будущего.

– Аминь. Хватит уже тебе молодых томить, – сказала Маша и, поднявшись, взяла со стола остывший чайник. – Пойду греться поставлю.

Проходя мимо покрытой белой кружевной скатертью тумбы, на которой пылилась наша гордость, купленный в прошлом году «Рекорд», свободной рукой она повернула звучно хрупнувшую ручку выключателя.

– Развлекитесь пока, – сказала она. И, убедившись, что маленький экран замерцал голубыми полосами и, стало быть, прибор включился и приём есть, добавила: – Вернее, отвлекитесь. Как раз новости начались.

Лучше бы она этого не делала.

Суетливая мельтешня кадров и строк внутри кинескопа уgomонилась и выпустила на экран осточертевшее лицо, благороднейшее из благороднейших. Картинная седина, умные глаза, классические британские усы, длинные впалые щёки – ну прямо исхудал-отощал от забот о благе Англии и всего цивилизованного сообщества...

– Чемберлен, – первым подал голос Серёжка.

И он, мол, не лыком шит, знает премьера Великобритании в лицо.

С Невилом Чемберленом я виделся очень мало и всегда мельком. Не мой уровень. В дипломатии ритуалы значимее, чем на похоронах, и потому иерархическое соответствие сторон есть почти фетиш. Обычные мои визави – замминистра Кадоган, в порядке исключения – сам министр Галифакс, у поляков – вице-министр иностранных дел Шем-бек... У немцев – статс-секретарь Вайцеккер...

Век бы их не видать, хлыщей.

Впрочем, с немецким послом в Москве фон Шуленбургом мы друг другу странным образом симпатизировали. Хотя он и фон, а я всё детство в деревянном корыте крапиву сеч-

кой рубил на прокорм домашней птице, да порой и себе... И ещё более странным образом друг другу сочувствовали. Мне иногда буквально до слёз его становилось жалко: такой приличный дядька, а служит бесноватому, да ещё уверен при том, что у него и выхода другого нет, ибо так он служит фатерланду. Дас дойче фольк избрал себе канцлера – и амба; утрись, Фридрих-Вернер Эрдманн граф фон дер Шуленбург, и служи.

А он, подозреваю, думал то же самое обо мне... Ну, только без графа, конечно.

Ладно. Что там в экране?

Известно что. Весь мир, наверное, смотрит эти кадры во всех новостных программах, и раз, и два, и три. И рукоплещет. Благородный седой джентльмен, явно исполненный всех и всяческих достоинств, истинный рыцарь, стоял у трапа самолёта, держа в пальцах прыгающий на ветру листок бумаги, которым Адольф, ну ясно же, не сегодня-завтра подотрётся, и ворочал во рту горячую картофелину английской речи. А за кадром всюду старался синхронист:

– Когда я уезжал на эту встречу с господином Гитлером, сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в далёкой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно, представлялась мне ужасной, фантастичной и неправдоподобной... – Он, точно актёр заштатного клуба, не преминул сделать пошлую паузу, для вескости ещё раз встряхнул бумажным клочком и патетически воскликнул: – Я привёз мир нашему поколению!

Меня замутило.

В передаче этого не говорили, но я знал: старого больного придурка уже ждал король, чтобы отблагодарить и наградить за миротворчество. Приём был назначен заранее.

Дебилы. Подонки.

– Теперь Чехословакия освобождена от всех источников внутренних конфликтов, и развитию демократии там уже ничто не помешает!

Сколько пафоса, сколько апломба... Безгрешный носитель общечеловеческих ценностей, олимпиец и миротворец, рассудил всех по справедливости и ничуть не стеснялся это показать.

Кстати, об объективности. Вот так возвышенно, дети, выглядит объективность, и вот такова ей реальная цена.

А то, что в Мюнхен не позвали никого от нас, хотя с чехами у Союза были все договоры о взаимных гарантиях, – ладно не позвали меня, но ни Молотова, ни Литвинова, ни хотя бы Потёмкина, вообще никого, – означало, по сути, что четыре главные европейские державы заключили антисоветский союз. Пусть и косвенный. Лиха беда начало, дойдёт и до прямого.

После премьеры ещё что-то лопотал комментатор, кажется, как раз о будущем королевском приёме, но мы уже не вслушивались. Отрешённо молчали некоторое время, потом Серёжка очнулся и неуверенно спросил:

– Пап, ну и что теперь? – Он запнулся, не решаясь произнести страшное слово, а потом всё-таки произнёс: – Война?

Я не сразу нашёлся, что ответить, и мы успели услышать от сменившего тему диктора несколько жизнерадостных фраз о запуске на Ставрополье новой машинно-тракторной станции, способной обслуживать сразу до десятка колхозов, а потом вдруг храбро откликнулась Надежда. С надкушенной плюшкой в руке она, аккуратно прожевав и проглотив, убеждённо сказала:

– Да перестань. Вот бояка, а ещё военный. Мой папа говорит, войн теперь уже никогда не будет. Современные простые европейцы так себя любят, что нипочём не позволят своим правительствам себя стравить и рискнуть их жизнями. Там же везде демократия. Чего народ хочет, то правительства и делают. А чего не хочет, того не делают, а то выборы проиграют.

Я чуть не расхохотался сквозь комок в горле. Серёжка вопросительно посмотрел на меня: мол, ты согласен?

Война уже шла. Со всех сторон. Теперь она пришла и в сердце Европы. Пусть эта перекройка границ состоялась без единого выстрела – что за разница? Если, насилуя женщину, ей не переломали рёбра, это не превращает изнасилование в долгожданную ночь любви.

– Твой отец воевал, Надя? – тихо спросил я.

– Нет, конечно. – Она повела плечиком. – Он же учёный.

И вот тут меня пробило.

Это было так по-детски... Так безответственно. Мне позарез хотелось стать таким же хотя бы на один вечер, хотя бы на часок. Чтобы ну немножечко отдохнуть. Бессильная ответственность меня душила. За твоей спиной – дом, жена и сын, и некому, кроме тебя, остановить прущий танк, а у тебя – ничего, голые руки. Девочка просто излучала эту желанную, долгожданную безответственность. Она меня всё-таки заразила. Всё-таки это был вирус.

Если бы люди не умели становиться безответственными хотя бы ненадолго, никто бы ни в кого не мог влюбиться.

Бомбы сыпались на востоке, на юге, на западе. Они уже висели над нашими головами. Сидевшую напротив безмятежную девочку невозможно было в этом убедить, объяснить ей хоть что-то. Её можно было только прикрыть собой.

Но, заслоняя женщину от бомбёжки, рискуешь оказаться на ней.

У меня внутри всё заходило ходуном, когда я душой услышал с потолка такой знакомый по Испании истошный вой пикирующего «юнкерса» – лаптёжника, а телом ощутил прижатое горячее, упругое, льнувшее, распластанное... Безоглядно доверяющее себя тебе в отчаянной надежде спастись. И нежная кожа ключиц прямо перед глазами.

Это длилось какой-то миг, но мне хватило.

## **Факты для Надежды:**

### **фоновая мозаика**

...В сентябре 1931 года под предлогом «Маньчжурского инцидента» (локального теракта, осуществлённого, по некоторым данным, самими же японскими военными) Япония вторглась в пограничную с СССР китайскую провинцию Маньчжурия. В октябре Совет Лиги Наций вынес на голосование резолюцию, в которой предложил Японии в течение трёх недель вывести войска из Маньчжурии. Япония проголосовала против. Резолюция принята не была. К концу зимы была оккупирована вся Маньчжурия. В марте 1932 года созванное японцами Всеманьжурское совещание провозгласило создание отдельного от Китая «независимого» государства Маньчжоу-Го (что в переводе и значит «Маньчжурское государство») под протекторатом Японии. Японию раскритиковали в Лиге Наций. В ответ она просто вышла из этой организации, а в июле 1937 года начала полномасштабную агрессию против Китая. 13 декабря японскими войсками был занят Нанкин – тогдашняя китайская столица. Правительство бежало. В ходе возникшей после взятия города резни погибло около 200 тысяч мирного населения. К середине 1938 года японцы фактически отрезали Китай от морей. Для связи с внешним миром у Китая остались лишь три пути: узкоколейка из Хайфона во Французском Индокитае; горно-лесная дорога в Британскую Бирму и

Синьцзянская дорога до советской границы. К этому моменту потери Китая составляли, по самым приблизительным подсчётам (а иных нет), уже около 20 миллионов убитых.

В 1934 году влиятельный британский политик Ллойд-Джордж комментировал позицию Англии относительно действий Японской империи так: «Мы предоставим Японии свободу действий против СССР. Пусть она расширяет маньчжурскую границу хоть до Ледовитого океана и присоединит к себе дальневосточную часть Сибири».

21 августа 1937 года между СССР и Китаем был заключён договор о ненападении, что вызвало обострение в советско-японских отношениях.

В 1938 году японцы от лица Маньчжоу-Го предъявили СССР территориальные претензии, в частности, на несколько пограничных сопок, с которых просматривалась и, при желании, простреливалась значительная территория в глубине СССР, а также полностью перекрывалось стратегическое межозёрное дефиле. 29 июля усиленная рота японцев атаковала сопку Безымянная, где находился советский пограничный дозор. С этого начался так называемый инцидент у озера Хасан. Активные боевые действия с нарастающей интенсивностью и вовлечением всё больших сил и средств продолжались до 9 августа, когда японцы были выбиты с советской территории. 10 августа японский посол в СССР предложил начать мирные переговоры. СССР ответил согласием, однако в течение 10 августа японские войска предприняли ещё несколько безуспешных атак. 11 августа боевые действия были действительно прекращены.

...3 октября 1935 года итальянская армия вторглась в Эфиопию. Итальянцы массированно применяли против местных войск и мирного населения химическое оружие (фосген и иприт). 7 октября Лига Наций признала Италию агрессором. 11 ноября Совет Лиги Наций принял решение ввести против Италии экономические санкции: запретить поставки оружия, каучука, свинца, олова, хрома. Эмбарго не распространялось на нефть, уголь, сталь. От участия в санкциях отказались США, Германия, Австрия, Венгрия. СССР выступил с предложением установить эмбарго на поставки в Италию нефти и нефтепродуктов. Советское предложение поддержали 9 стран, но большинством голосов оно было отклонено. Когда поступило предложение закрыть Суэцкий канал для кораблей снабжения итальянских войск в Эфиопии, США и ряд других стран голосовали против. Великобритания оставила Суэцкий канал для итальянских военных грузов открытым.

В результате применения отравляющих газов в итало-эфиопской войне погибло свыше 270 тысяч жителей Эфиопии, ещё 484 тысячи – в ходе бомбардировок и артиллерийских обстрелов, вследствие казней и от голода.

4 июля 1936 года Лига Наций постановила отказаться от продолжения санкций в отношении Италии. 15 июля 1936 года санкции были отменены. 25 июля 1936 года оккупацию Эфиопии Италией признала Германия, 18 ноября 1936 года – Япония. В 1938 году суверенитет Италии над территорией Эфиопии признали Великобритания и Франция.

...В Испании после выборов 16 февраля 1936 года с небольшим перевесом победил так называемый Народный фронт. Были освобождены политические заключённые (свыше 15 тысяч). Началась радикальная аграрная реформа. Но уже 17 июля произошла попытка военного переворота,

и началась Гражданская война. Вскоре войска путчистов возглавил генерал Франко.

25 июля 1936 года Франция объявила о «невмешательстве в испанские дела» и разорвала договор о поставках оружия в республику. 8 августа Франция объявила о полном эмбарго на ввоз оружия в Испанию, что на деле означало запрет на поставки оружия лишь законному правительству. 24 августа соглашение о «невмешательстве» подписали все европейские государства. В Испанию начала поступать советская военная помощь, появились советские военные специалисты. На стороне республики в так называемых интернациональных бригадах воевали коммунисты, анархисты и социалисты из самых разных стран, в том числе из Германии и, разумеется, из СССР. На стороне франкистов, именовавшихся также националистами, воевал немецкий авиационный легион «Кондор»: четыре эскадрильи бомбардировочной авиации, пять – истребительной плюс вспомогательные части (общей численностью до 150 боевых машин), а также итальянский пехотный Корпус добровольческих сил (до 50 тысяч личного состава). В рядах националистов воевали также добровольцы из Ирландии, Португалии и из круга российских белоэмигрантов.

Для немцев участие в испанской гражданской войне стало не только обкаткой новой авиационной техники и тренировкой личного состава, но и полигоном для отработки практического применения теорий. Например, ещё до окончания военных действий в германском научном журнале «Архив расовой и общественной биологии» (Archiv für Rassen- und Gesellschafts-biologie) вышла статья «О пользе воздушных бомбардировок с точки зрения расовой селекции и гигиены», где говорилось: «Больше всего страдают от воздушных бомбардировок наиболее населённые районы городов. Так как эти районы и кварталы населены бедными людьми, не обеспеченными в жизни, то общество освобождается с помощью воздушных бомбардировок от этих людей... Кроме того, взрывы тяжёлых снарядов весом в тонну и больше, помимо смерти, которую они сеют, неизбежно вызывают многочисленные случаи сумасшествия. Люди, нервная система которых недостаточно сильна, не могут вынести такого удара. Таким образом, воздушные бомбардировки помогут обнаружить неврастеников и устранить их из социальной жизни. Как только эти виды болезней будут раскрыты, останется только подвергнуть стерилизации их носителей, и тем самым будет обеспечен отбор расы».

18 ноября франкистов признали законной властью Испании Италия и Германия. К концу 1937 года их примеру последовали более 20 государств (в их числе Польша, Венгрия, Бельгия, Ватикан).

В ноябре 1938 года силы, подчинённые Франко, начали решающую операцию войны. Республиканское правительство к этому времени осуществило масштабные закупки военной техники в СССР. В конце ноября техника была доставлена во французский порт Бордо. Однако французское правительство отказалось пропускать груз в Испанию.

26 и 27 февраля 1939 года правительство Франко признали Франция и Британия.

6 марта военная верхушка республиканцев объявила по радио о низложении правительства и переходе власти к Хунте национальной защиты. Спустя неделю, прошедшую в уличных боях, хунта установила свою



власть на всей территории, ещё свободной от франкистов. Одновременно прекратилось и сопротивление франкистам. 1 апреля Франко взял под контроль всю Испанию.

Гражданская война обошлась Испании, по разным данным, от 450 тысяч до полутора миллионов погибших.

...В октябре 1936 года Берлин и Рим подписали секретный протокол о взаимодействии. Через месяц между Германией и Японией был заключён так называемый антикоминтерновский пакт, направленный, во-первых, непосредственно против СССР, а во-вторых, на противодействие СССР на международной арене. В ноябре к пакту присоединились Италия и Венгрия.

...25–26 марта 1935 года в Берлине во время секретных переговоров министра иностранных дел Великобритании Джона Саймона и Гитлера Саймон фактически санкционировал будущее силовое присоединение Австрии к Германии (аншлюс). Когда Риббентроп попросил Саймона изложить британские взгляды по австрийскому вопросу, тот ответил: «Правительство Его Величества не может относиться к Австрии так же, как, например, к Бельгии, то есть к стране, находящейся в самом близком соседстве с Великобританией». В ответ Гитлер поблагодарил правительство Англии за великодушие.

18 июня 1935 года между Англией и Германией была подписана морская конвенция. Совокупный тоннаж германского военного флота определялся теперь в 35 % от совокупного британского, а по подводным лодкам – в 45 %. Таким образом, Великобритания в одностороннем порядке, без предварительной консультации с Францией и не сообщив об этом Лиге Наций, отменила военно-морские ограничения, которые налагал на Германию заключённый по итогам Первой мировой войны Версальский договор.

В ноябре 1937 года будущий глава МИД Англии лорд Галифакс во время визита в Берлин на встрече с Гитлером поблагодарил его за «великое дело»: «уничтожив коммунизм в собственной стране, он закрыл ему путь в Западную Европу» и сделал Германию «оплотом Запада против большевизма».

## Счастливая семья

Смотреть на девушку сына прямо и честно, как поначалу, я в тот вечер так уже и не смог; струсившие глаза отпрыгивали сами собой. А если всё же взглядывал мельком, когда она отворачивалась, – першило в горле, и будто раскалённым паром обдавало лицо и...

Да что тут, в самом-то деле, тужиться с описаниями. Покажите мне того, кто не знает, какие места окатывает горячим паром, когда находит эта окаянная блажь.

Не могу об этом говорить и не буду. Был бы молодой – может, нашлись бы какие-то простые и не пошлые слова. Молодым всё внове, поэтому они и слова умеют находить словно бы новые, первозданные, свежие, а оттого – непорочные. А я... Как ни попытаюсь передать то, что испытывал, – всё звучит с каким-то стыдным причмокиванием типа «Сусанна и старцы». Не буду, нет. Не буду.

Когда Маша вернулась с чайником, моя совесть, вмиг ставшая нечистой, сразу завопила мне, что жена всё почувствовала.

Заботливо подливая горячего в мой стакан, красующийся в латунном подстаканнике со звездой, она, словно бы ещё не в силах поверить, так удивлённо и так пытливо загляделась мне в лицо, что едва не дополнила струёй настоящего кипятка ту струю воображаемого пара, что палила меня изнутри. Как она меня так сразу раскусила?

Может, оттого, что слишком уж много мне приходилось притворяться на работе, в обществе благоухающих набриолиненных стервецов, что с умным видом и без малейших угрызений объявляют чёрное белым, а белое чёрным; в ответ до судорог в мышцах хочется по-пролетарски засветить чем попало в наглые рыла, а приходится жевать сопли с сахаром: рады отметить общность основных наших подходов... остающиеся разногласия не могут помешать нам координировать усилия в деле достижения... Зато дома я всё это сбрасываю и даже слова нечестного сказать не в состоянии, и на лице у меня всё написано. Дома я беззащитен. Без фрака, без шерсти, без кожи.

А может, от наэлектризованных бессовестным вожделием и желающих немедленно совокупиться просто пахнет как-то иначе? Ведь сплошь и рядом женщины по каким-то загадочным причинам остаются равнодушны к любящим, рассудительным, элегантным, заботливым и на костёр идут ради насквозь эгоистичных распутников с нестиранными трусами и вонью из подмышек. Летят, верно, на какой-то им одним ведомый запах, что главнее любой воню.

Коли так, наука раньше или позже докопается до этой химии. Наука, она такая. Любых чудес натворит на потребу толстосумам. И это будет конец любви, и конец свободе, и конец всему самому красивому в человеке, самому непродажному, самому живому. Быть может, последнему непродажному и живому. Прежде хотя бы время от времени, хотя бы изредка прекрасные и благородные женщины могли говорить совершенно искренне: с милым рай в шалаше. Но когда наука покопается в святом, любовь не метафорически, а воистину станет и покупной, и продажной. И не в смысле грубой проституции, и даже не как спокон веку, что греха таить, бывало: выйду за богатого, а любить буду милого. Нет. Тогда и милым сделается лишь богатый. Именно любить можно будет лишь тех, кто в состоянии заплатить аптекарю или парфюмеру за какую-нибудь дорожную пилюлю или прыскалку, а остальным – просьба не беспокоиться. Какое там «ветру и орлу и сердцу девы нет закона»? Один будет закон – цена.

Природа с её всевластием случайностей – великий демократизатор, но покорение природы положит этой халяве конец. Кто богаче – тот желанней и любимей. Тот – красивей. И умней. И здоровей. И долговечней. А если эти свойства ещё и научатся передавать через гены по наследству, как имущество...

Можно только гадать, сколько такая услуга будет стоить. Кому достанется. Уж точно не рабочим и крестьянам.

За имение или мастерскую, за лишнюю полоску земли или новое жемчужное ожерелье люди и то режут, травят и топят друг друга. Даже подумать жутко, как безоглядно любой пойдёт по костям, чтобы обожали по первому щелчку, чтобы любая хворь обходила стороной, чтобы оставаться молодым двести лет. И чтобы передать всё это детям.

Безо всяких личных усилий передать, просто за очередную плату. Ведь дети-то, чтоб не мешать родителям зарабатывать, растут в какой-нибудь высокотехнологичной и, конечно, тоже дорогой пробирке. Как умники говорят: экстракорпорально.

Ничего сам, ничего внутри. Всё для тебя – извне, всё – другие, всё – за деньги. Рынок.

Капитализм изначально бесчеловечен, но капитализм, помноженный на науку, – это вообще конец человечества. Сколько бы он ни твердил давно утратившее реальный смысл слово «свобода». Если не положить ему предела, раньше или позже он всех людей поголовно перемелет и сделает чем-то вроде турникетов в парижском метрополитене: опустили в щель монетку – задёргался, открылся, всё умеет и на всё готов; не опустили – стоит мертвяк мертвяком, железака железякой и не реагирует ни на молитвы, ни на стихи, ни на партийные лозунги.

Чем больше думаю, тем лучше понимаю: в Октябре мы успели буквально в последний момент.

Да и то ещё не факт, что успели.

А сколько времени и сил ушло, да и поныне уходит на то, чтобы уловить и приглушить в симфонии революции партию отвращения к России как таковой и необъяснимо неустанный желания, чтобы её не было. Не для освобождения пролетариата, не для коммунизма, а просто так. Только путается, мол, под ногами у той или иной высшей расы. И вообще – никудышная. Сколько времени ушло на то, чтобы понять: эта партия вовсе не выдумана недорезанными черносотенцами, а взаправду звучит, да порой – ещё как...

Серёжка ушёл проводить Надежду до трамвая, а мы с Машей привычно принялись в четыре руки за посуду: я мыл под краном, она вытирала или ставила в сушилку. Глупо признаваться, но я люблю мыть посуду. Люблю делать грязное чистым. Опять-таки: труд и его немедленные плоды. Да и то сказать – разве это труд? Когда из крана течёт, да ещё и не только холодная... То, как по воду надо было в любую погоду бегать с ведрами за полверсты, осенью или весной чавкая по грязи, зимой оскальзываясь на смёрзшемся от пролитой воды снегу, не забудется до смерти.

Мы как раз закончили, когда Серёжка вернулся благодушный, гордый, поглядывая на нас чуть вопросительно: ну, мол, как? Я показал ему большой палец. Он расцвёл.

А в полутора тысячах километров от нас, не прерываясь даже на ночь, валили через бывшую границу колонны техники и войск, и чёрные, как тени мертвецов, регулировщики, крутя жезлами в снопах света нескончаемо сменяющих друг друга фар, выхаркивали своё «Шнель! Шнель!».

Тлеет ночник. Таинственно мерцали, как драгоценности в пещере Али-Бабы, никелированные шары на спинке нашей кровати. Маша ждала, почему-то натянув одеяло до подбородка, сегодня совсем спрятавшись от меня, и её голова смутным пятном угадывалась на подушке. Кажется, глаза были закрыты. Но она не спала, дыхание выдавало. Я стал раздеваться и вдруг подумал: а ведь даже у самой юной и самой красивой внутри всё то же: тёплое, влажное и скользкое. Ласково тесное и пленительно нежное.

Меня опять будто ошпарили.

...Я ещё немного полежал на ней, жадно и торопливо хлебая воздух. Только что был как поршень дизеля на форсаже – и вот обмяк и распластался, точно полупустой мешок

с тряпьем. Бессильно поцеловал ей шею. За ухом. В глаза. Её опущенные веки оказались влажными.

Потом отполз в сторонку. Она тут же опять спряталась под одеялом, а я остался так. Запрокинул голову, глядя в тёмную высь потолка, раскинулся. Простыня жгла, точно дышащая розовым мерцанием зола. Хоть картошку пеки.

Щекой почувствовал её взгляд, но не повернул головы. Упорно, ни слова не говоря, продолжал смотреть вверх. Маша так же настойчиво и так же молча звала, звала ответить взглядом на её взгляд. Но я боялся.

– У тебя седина красивая, – сказала она на пробу.

– Темно же, – проговорил я. – Как ты видишь?

– Вижу.

Я не ответил.

– И вообще ты сегодня превзошёл себя.

Я не ответил.

– И за столом, и после, – сказала она.

Я не ответил.

– Два часа рядом с молоденькой посидел и сам помолодел, – на пробу пошутила она.

Я сказал:

– Да это я рядом с тобой сидел. А они напротив.

Она помолчала и, решив, наверное, больше не будить лиха, спросила уже обыденно, по-семейному; мы, мол, вместе, и у нас общие заботы:

– Как она тебе?

– Вроде ничего. Только наваженная очень.

– Наваженная?

Она не поняла. Не знала слова.

Это от бабушки во мне уцелело, и, размякнув, я по рассеянности иногда возвращался речью в детство, забывая о том, что меня могут не понять. «Наваженный» – значит «очень много о себе понимающий», «надутый от важности». Бабушка была кладезем непонятных, чарующих слов и фраз, которых теперь уж нет и никогда не будет. Я умру, и они умрут, такого даже сыну не передать. Останутся тубинг, блюминг, мерчандайзинг... Газгольдер, бюстгальтер. Дискурс, дисфункция, лобби, либидо. Инжектор, проректор. Шимми, твист.

А она, натрудившись до упаду на огороде, говорила: что потопаяшь – то и полопаяшь. Отставляла пустой стакан и говорила: чай не пьэш – осовешь, а как попьэш – опузатешь. Медленно, тщательно пережёвывала кусочек хлеба и, когда он всё-таки иссякал, говорила: жуэш, жуэш, аж вспотешь. Метель у неё была: падера. Самодовольный пижон: клюй. Встрёпанный и растерянный: расколяченный. Хлопотать и возиться: вошкаться. Раздеться: разнагишаться или растелешиться, причём первое – о мужчинах, а второе – о женщинах, и почему так – неведомо. Эти слова сами по себе были как хлеб. Хлеб языка. Без них – одна химия, пальминат натрия. Мыло вместо хлеба.

– Ну, важная очень. Высокого о себе мнения.

– Мне показалось, ты к ней вполне проникся.

Я сглотнул, прежде чем ответить. Боялся неуместно пискнуть горлом.

– Ну, симпатичная, кто ж спорит.

– А ты не боишься при ней вести такие разговоры? Мы же её совсем не знаем.

– А что я такого сказал?

– Ну да, действительно. Теперь русский дух опять в почёте. Дожили.

– Машенька, а почему ты теперь от меня всё время под одеялом прячешься? Нынче вон вообще... до горлышка. И никогда уже, – я показал двумя пальцами, как ходят, – не погуляешь передо мной? Это ведь красиво...

Она помолчала. Потом суховато ответила:

– Фигура уже не та, чтобы увеселять повелителя половецкими плясками. Что ты глупости спрашиваешь? Будто сам не знаешь. Грудь обвисла, талия оплыла, целлюлит...

Я едва не рассмеялся. Вот сейчас, в эти самые часы, Гитлер без боя занимает Судеты со всеми их крепостями и заводами, и у нас, может, летят последние мирные ночи, когда ещё можно дать себе волю, – а её именно сегодня начал волновать целлюлит!

Потом я вспомнил, что волновало весь вечер меня, и пузырь смеха мне будто банником вогнали обратно в глотку.

Машенька.

Марыля. Маричка...

У меня замечательная жена. Я люблю её и любил все те почти уже бесчисленные годы, что мы вместе. А что мы иногда спорим о высоких материях и сойтись не можем, так это и увлекательно, и добавляет ценности каждому в глазах другого, делая потом, что греха таить, обладание слаще – не кукла, мол, безропотная плавится в твоих руках горячим стонущим воском, но самостоятельная высокодуховная личность.

Какой-нибудь живущий в мирное время идиот, наверное, счёл бы наше знакомство романтическим.

Её отец комиссарил у нас в полку.

Он был родом из тех странных межуемочных мест, что малороссы называют Западной Украиной, поляки же – Восточной Польшей, а чаще и проще, как и любое инонациональное приращение своего воскресшего государства, – кресами, то бишь пограничьем, оконечностями.

Местности и края такого рода столетиями болтаются от страны к стране, а то и просто в щелях между ними, не принося счастья ни себе, ни тем, от кого к кому кочуют. Серёжка, начитавшийся мечтательной зауми и настолько увлечённый, извиняюсь, космосом, что даже боевую авиацию бросил ради опасных и не очень-то, по-моему, своевременных стратосферных экспериментов («Стратосфера – это первый шаг к овладению безвоздушным пространством, папа! Как ты не понимаешь?»), сравнил бы, наверное, подобные окраины с астероидами. Неприкаянно и мёртво те мыкаются по неустойчивым, причудливо вихляющимся орбитам между большими живыми планетами, приближаясь то к одной из них, то к другой, то вновь улетаая от всех в сумасшедшую ледяную даль; но не это трагедия. Трагедия происходит, если астероид во время сотого или тысячного из однообразных пролётов мимо оказывается всё же захвачен тяготением той или иной планеты и на неё упадёт.

Собственно, живут там люди как люди, я не раз убеждался. Работящие, крепкие, семейные, костями готовые лечь за свой дом, как и любой нормальный хороший человек. Но если, позаимствовав у той или иной планеты кислорода и зелени, на астероиде успевает вырасти так называемая культурная элита, добра не жди.

Ни одна элита не может не гордиться собой – так она свои творческие способности неизбежно подпитывает, – но тамошней элите гордиться нечем. Нет у неё и не было никогда достижений: и письменность не она себе придумала, и главные книги не она себе написала, и уж подавно ни магнитного поля не открывала, ни Икс-лучей, ни стрептоцида, ни Антарктиды, ни даже завалящей Америки. В Америку она только бежать способна, но всем-то ведь не убежать. И потому вместо гордости получается один гонор. «Гонор», конечно, с латинской подачи по-польски «честь», но ведь не зря же в русском этакая честь именно в «гонор» превратилась, и ни во что иное; хорошо хоть не в гонорею. И вот по-человечески очень понятным образом тамошние властители дум приходят к незыблемому убеждению: потому у них достижений нет, что их всегда угнетали. Не давали проявить себя. Пользовались их великими талантами, крали их великие прозрения и, высосав, выбрасывали их самих обратно в межпланетный мрак. Причём ведь вот что любопытно: реальных достижений они добива-

лись, если вообще добивались, именно лишь попав на ту или иную планету. Когда получали, наравне с остальными её обитателями, её воздух и свет, её простор, её огромные ресурсы, её питательную среду... Некоторые становились на ней совсем своими, а то и её гордостью. Но именно эту-то планету потом и начинали скопом ненавидеть. Она-то и становилась у них символом угнетения и интеллектуального ограбления. То та, то эта... В зависимости от зигзагов орбиты. Такая у гонора простенькая механика.

Только у очень крупных, самодостаточных людей, у которых много позади и много впереди, благодарность – естественное чувство, опора и мотор лучших проявлений души. А для тех, у кого один гонор, – это тяжкий груз, обуза, лишаящая свободы. Если ты меня спас, а я тебе благодарен, получается, что я вроде как несамостоятелен, вроде как колонизирован. А вот если ты меня спас, а я тебе в лицо плюнул – стало быть, я настоящий, равный тебе полноценный Хомо Сапиенс. Свободный.

В двадцатом году я, молокосос, деревенский тюня-лапоток, всего этого, конечно, не понимал. Тем более что и сам Ильич клял на чём свет стоит национальную гордость великороссов. И когда наш обожаемый мною комиссар хлопал себя по кожаному боку, выхватывая маузер, и с лёгким акцентом кричал: «Кто скажет слово “русский” в положительном смысле, того расстреляю на месте! (и стрелял, бывало...) Русский – значит, царский!» – у меня лишь дрожь восторга пробежала по телу: вот ведь как энергично и бескомпромиссно создается новый мир!

Себя я угнетателем и оплотом царизма ни в каком виде, разумеется, не считал. И не видел ни в слове «русский», ни в принадлежности к этому народу ничего зазорного.

Но у меня за плечами был опыт Плехановского семинара.

Один из лучших людей, что я в своей жизни знал, – это Георгий Валентинович. Светлая ему память, земля ему пухом. И помирать буду – то же скажу, никакой исторический опыт меня не свернёт. Были бы все интеллигенты такими, как он, я бы на них молился. Не соглашался бы, наверное, теперь во многом – а молился всё равно. Не за единомыслие, пёс с ним, в конце концов, а за человеческие качества. Замечательные люди встречаются куда реже единомышленников.

Кружок наш был самым первым и, пожалуй самым знаменитым в России; в отличие от множества возникавших то тут, то там эфемерных полуподпольных говорилен он дал самую богатую поросль. Совсем ещё мальчишкой, лапотком натуральным, я приходил на заседания, забивался в уголок и слушал мудрых и великодушных. Как они соревнуются в остроумии и способностях к предвидению, как несут по кочкам власти и предлагают от властей избавление, как фехтуют то отточенной логикой, то яркими образами, в которых и логика порой не важна – нестандартность важнее... Как они блистали! Как крыли прогнившую империю! И то в России не так, и это не этак... Я, помню, слушал и падавшую от изумления челюсть не успевал вправлять ладонью: в каком, оказывается, аду мы живём! Я-то, дурень, по простоте своей полагал, что тут подкрутить, там поджать, этим, обнаглевшим вконец, дать окорот, и всё станет по-людски. А оказывается – надо до основания!

Но как умел слишком уж оторвавшихся от земли краснобаев Георгий Валентинович сбить с котурнов безупречно учтивой, но оглушительно точной иронией!

И, наоборот, если появлялся какой-нибудь обормот с очередным совсем уж пустобрехливым прожектом – скажем, надо всего-то лишь перевести русский язык на латиницу, и тогда постепенно сами собой и нравы исправятся, и права человека восторжествуют, и восьмичасовой рабочий день спланирует на ангельских крылышках из собственной его императорского величества канцелярии, и даже женщинам будет участвовать в выборах, потому как неизбежно случится воссоединение с мировой цивилизацией, а всё отсталое, косное, азиатское, вместе со всем нашим окаянными прошлым, отлетит, как прах, с наших зашагавших в будущее ног; вот тогда наш любимый шеф (Георгий Валентинович сам велел так,

на европейский манер, называть себя), картинно взвесив на ладони кипу исписанных листов, говорил: «Прошу господ семинаристов быть сегодня предельно уважительными. Героем нынешнего обсуждения была проделана большая работа...» И мы начинали кто прыскать, кто хихикать, кто ржать – всё в зависимости от того, насколько умнее автора прожекта каждый полагал себя; ржали в голос, конечно, именно те, кто считал себя самыми умными. С той поры и на многие годы фраза «Проделана большая работа» стала среди нас кодовым обозначением огромного, тяжкого и заведомо бессмысленного труда.

Да, не только революции там учили. Как-то само собой получалось учиться человечности. Ни к кому нельзя было быть неуважительным, пусть хоть к нелепому самодовольному прожектёру – ибо уже благие побуждения как таковые похвальны и заслуживают терпеливого, мягкого и тактичного культивирования; вдруг что и вырастет съедобного?

И среди многого прочего именно там, в плехановском «Освобождении труда», я понял простую, но, к сожалению, далеко не всем открывающуюся истину: если о тебе думают несправедливо плохо, это ещё не повод считать того, кто так думает, тебе врагом. Или вообще плохим человеком. Куда чаще такое случается потому, что тебя всего лишь не поняли. Стало быть, надо не резкими словами и благородной яростью, не пощёчинами и не бесконечной дуэлью отвечать на нелестные, оскорбительные о тебе представления, а коррекцией своего поведения. Работой над собой.

То есть применительно к ранней революционной поре – жить и всё время показывать, доказывать: русский я, русский, но какой же я раб режима и поработитель?

Так и жил...

Поначалу я и не знал, что яркая и отчаянно храбрая девушка у нас в отряде – боец как боец, даже лучше многих – комиссарова дочь. Два месяца я смотрел на неё снизу вверх и был уверен, что она меня вовсе не замечает. Наверное, так оно и было какое-то время.

Но потом настала Каховка.

Не знаю, с чего они с отцом уже много позже взяли, что в песне «Каховка» слова «И девушка наша проходит в шинели, горящей Каховкой идёт» посвящены именно ей. Или, по крайней мере, ею навеяны. Вряд ли. Впрочем, я никогда не спорил – пусть будет семейное предание, с преданиями красивее жить. Осмысленнее, одухотворённое. Но если так, то... В песне ещё такие строчки есть: «Тогда нам обоим сквозь дым улыбались её голубые глаза». Кто у Светлова имелся в виду под одним из этих обоих – не ведаю, может, её отец, а может, поэт метафорически, скромно восседая на пегасе, подразумевал себя. Но другим из них точно полагалось бы считаться мне.

В те дни генерал Слащов – никакой ещё не демонический литературный Хлудов, а просто небездарный кокаинист-золотопогонник – при поддержке кавкорпуса Барбовича бодал наши свежезахваченные плацдармы на левом берегу Днепра.

Сплошной линии фронта ещё не сложилось, возникли ничейные зоны, гроздь пустых пузырей, которые каждый мечтал проткнуть первым, но боялся соваться наобум. И у белых, и у нас для серьёзной разведки боем не хватало сил. А для детальной разведки с воздуха не хватало аэропланов.

Отец, суровый большевик, никак не выделял дочку среди прочего воинства. Красноармеец Марыля – и точка. Не знаю, как уж они меж собой общались в частном порядке, но если все в траншею – так и она в траншею, если усиленная группа в дозор – так и дочка в дозор, наверное, в качестве усиления. Нет, я не иронизирую – доверял он ей абсолютно, и стрелок она была отменный. А тут прижало выяснить, где против нас, завершая торопливую перегруппировку, сосредоточиваются изрядно потрёпанные, чуть ли не до половины личного состава потерявшие части генерала Ангуладзе. Если правильно помню – тринадцатая дивизия.

Почему-то в помощь Маше он послал именно меня. Она, разумеется, за старшего...

Ну, к тому времени я не простым бойцом уже был. Уже удостоился от комиссара подарка – именного нагана с гравировкой «За мужество, проявленное в боях с врагами пролетариата»; этот наган, всегда смазанный и заряженный, и по сей день увесисто покоился в ящичке моего стола. Однако мало ли было в то время таких вот бесшабашно храбрых по обе стороны фронта... Правда, партийный стаж у меня к тому времени созрел нешутейный, для рядового бойца странный и даже как-то непозволительный... Нет, не хочу гадать. Потом мы с ним никогда об этом не говорили. Послал и послал. Двоих.

Вспоминать те дни я могу до бесконечности, во всех подробностях, но не о них сейчас речь.

Мы проплутали между Магдалиновкой и Марьяновским хутором едва не до темноты. Без однозначных данных возвращаться было не с руки, не за тем шли. Решили назавтра двинуться на Черненьку и укрылись на ночь в брошенном, одиноко грустившем на окраине Магдалиновки доме с выбитыми окнами. Ночевать под открытым небом нам было не привывать, но если есть возможность обойтись без этого, кто откажется? Размыкаться по разным комнатам не рискнули: она прилегла на хозяйской перине, а я на полу у комода, накрытого белой скатёркой. Жили тут люди, видно, достаточные и бросили своё обиталище совсем недавно. Мы это поняли, когда, стоило нам улечься в надежде выспаться, на нас тёмными сомкнутыми цепями, точно каппелевцы, двинулись по стенам сверху клопы.

До конца дней своих буду им благодарен. Не дали они нам, вымотанным до одури, провалиться в сон сразу; случись такое, мы проспали бы ввалившихся в тот же дом на каких-то полчаса позже нас пятерых беляков. Сонных бы они нас и повязали. А может, и порешили. Кой чёрт их к нам занёс – не знаю; были ли они тоже дозором, или дезертирами, или отбившимися от своей части и шедшими ей вдогон разгильдяями, выяснять оказалось некогда. Мы от них слышали одно лишь слово: удивлённое «Краснопузые». А они от нас вовсе ни единого; а потом были только матюги, хрип и стон.

Вынужденный встречный бой в ограниченном пространстве, да ещё в поздних сумерках, почти в темноте, – самый паскудный подарок, какой можно получить после изнурительного дня. У них численное превосходство, зато мы в доме уже освоились. Когда накатывает таврийская ночь, помнить, где стена, где дверь, где клеть, где выход в сени, а где висит в тяжёлом окладе икона, которую недолго сорвать, чтобы треснуть просунувшуюся голову по темечку, – дорогого стоит.

Это нас и спасло.

А их погубило.

Иногда всё же странно бывает убивать людей, которые не только говорят на одном с тобой языке, но даже матерятся, как ты. Казалось бы, уж который год мы пускали друг другу кровь на потребу и потеху, как я теперь твёрдо знаю, англосаксам и прочей лощёной сволочи, уж пора было бы привыкнуть; но когда вот так, неожиданно-негаданно, только-только оставшись наедине с возжеленной женщиной посреди хмельной степной ночи...

Вся недолга заняла минут пять. По одному русскому в минуту. А мы с Машей по два раза успели спасти друг другу жизнь; вот такая вышла круговерть.

Под конец я, кряхтя от ярости и натуги, просто руками задушил предпоследнего, а последнему, раздробив лицо прикладом винтовки, вышибла мозги Маша, потому что некогда ей оказалось передёрнуть затвор; парнишка, уже раненный, уже распластанный на дощатом, гулком под сапогами полу, успел зацепить её сердце мушкой револьвера и только спустить курок не успел.

Потом я валялся навзничь, хрипло дыша, и грудь мне продавливала мёртвая рука такого же тюни-лапотка, как я, волею случая оказавшегося на той стороне; уже не часть человека, но всего лишь тяжёлая чужая вещь, мешавшая отдышаться, и я, едва очухавшись, её скинул. И, клянусь, помню как сейчас, в голове всплыло вдруг ни к селу ни к городу: проделана



большая работа... А потом красноармеец Маша упала на колени рядом со мной, уткнулась лицом мне в грудь и заревела ревмя.

Рядом с нами остывали и деревенели тела тех, для кого слово «русский», наверное, и впрямь было синонимом «царский», а я гладил её стриженную наголо от вшей голову сведёнными судорогой пальцами, ещё помнящими хруст вражьего кадыка, и бормотал что-то нелепое. Не надо... Всё, всё... Машенька...

И скрюченные пальцы, обжёгшись о смерть, словно сами собой погнались за жизнью и расстегнули верхнюю пуговку на её гимнастёрке.

А она, будто того и ждала, сама рывком раздёрнула вторую и третью.

Так это и случилось у нас.

Она же девочкой оказалась!

Помню, это меня потрясло сильнее всего. Мы были рядом, уже снова порознь, хотя и вплотную, но каждый опять отдельно, и я, сам чуть не плача от щемящего сострадания, бормотал: «Ты же погибнуть могла... Маленькая такая... Сто раз могла погибнуть...» А она неумело тыкалась мокрыми от слёз губами мне в плечи, в грудь и заклинала невнятно: «Но теперь я... Ты же меня... теперь даже если – то я всё равно уже... да? Да?»

Уже много позже, в тридцать шестом, в Париже, на какой-то бессмысленной и по политическим соображениям совершенно необходимой конференции с тамошними левыми я разговаривал на кофе-брейке с одной крупной защитницей женских прав. Убейте, не помню, как звали. Мадлен... Жаклин... Она и на официальной части не скупилась на гневные обвинения: дескать, советский гнёт лишил женщин наших среднеазиатских республик законного права на борьбу за свои права, – и на перерыве её понесло на ту же тему – самую, видимо, для Европы актуальную на второй год бойни в Эфиопии, на четвёртый Гитлера у власти.

– В советской Средней Азии женщины пользуются равными правами с мужчинами, одеваются, как хотят, получают светское образование... – терпеливо втолковывал я. – Чего вам ещё надо?

– Чтобы они добились всего этого сами, а не получили как подачку из рук тирана, – ответила она, глядя на меня гордо и победительно: вот я какая смелая, режу правду-матку и не собираюсь смягчать выражений, а попробуй, мол, упрекни меня в том, что я хамлю, как дура, – сам же окажешься дураком.

– Но это – тысячи жертв. Вы что, не знаете, чем кончались такие попытки в Северной Африке или на подмандатных вам, европейцам, территориях Переднего Востока? Женщин убивали, насиловали, жгли живьём...

– Настоящая борьба всегда сопряжена с жертвами, – изящно держа маленькую чашечку кофе наманикюренными пальцами, небрежно сообщила она мне и, будто в доказательство своей решимости бороться, тряхнула ухоженной гривой; в воздухе закружились дорогие ароматы. Я едва не чихнул.

Казалось, они тут не соприкасаются со взаправдашним миром и живут во вселенной словесных самоутверждений. Неважно, что на деле происходит. Неважно, какие последствия будут иметь слова. Лишь бы сказать что-то такое, чего не говорили до тебя. Такое, что ещё пуще соответствовало бы выдуманному, выцеженному из сытого пальца представлениям, не имеющим ни единой связи с реальностью, кроме желания, чтобы тебя в этой реальности заметили.

– Хорошо. – Я примирительно улыбнулся. – Это ваша гражданская позиция. Ваше социальное желание. Я понял. Общественное. А не могли бы вы мне поведать какое-то ваше личное желание? Сокровенное?

У неё загорелись глаза. Я понял, что сейчас она опять устроит сама себе удалое шоу про всемогущую и бескомпромиссную себя. И разумеется, не ошибся. Так легко оказалось всё знать про неё наперёд. Она была проста, как погремушка.

– Я мечтаю о том, чтобы кто-нибудь у вас в Политбюро наконец набрался храбрости и убил Сталина.

Меня не то что разозлить, но даже обескуражить было невозможно. Не дома же. Я галантно улыбнулся. За эти годы я научился улыбаться так, как у них во время деловых встреч улыбались все: одними зубами. Глаза оставались ледяными. Так улыбаются волки, приступая к еде.

– Не могу отказать столь очаровательной женщине, – сказал я. – Я вернусь в Москву и исполню ваше желание. И после этого вам станет не о чем мечтать? Как же вы жить-то будете?

Вот тут она растерялась. Её взгляд отплыл в сторону. Красными коготками она повертела чашечку на блюде. Ей, видимо, самой стало интересно: а о чём она мечтает? Она попыталась прислушаться к настоящей себе. И потом ещё несколько мгновений размышляла, стоит ли открывать душу взаправду, а не на выхвалку. Но стремление поговорить о себе, любимой, победило. Она беседовала со мной, как со случайным попутчиком, а в таких разговорах люди порой бывают куда откровеннее, чем с самыми близкими друзьями. Программные шлепки мне она уже отвесила, победительницей себя уже чувствовала, а пооткровенничать ещё хотелось. Она прекрасно понимала: даже если бы я попробовал кому-то передать её слова, русскому большевику ни один цивилизованный человек никогда и ни в чем не поверит.

– Очень хочется влюбиться, – продолжая смотреть в сторону, задумчиво сказала она.

Тут я, несмотря на всю свою закалку, почти удивился.

– У красивой дамы в Париже с этим проблемы? – Я поднял брови и развёл руками. – Никогда не поверю. Мадам, вы кокетка!

Она покачала головой.

– Секс стал доступнее презервативов, – проговорила она. – Но превратился во что-то вроде рутины правозащитного движения. Предпоследний пункт повестки дня. Встретились, поглядывая на часы, прямым действием реализовали своё право на личную свободу – и снова в бой.

– Ах, в бой... – понимающе сказал я.

И подумал: несчастные люди.

А потом подумал: не дай им боже нашего счастья.

Не поймут.

У слову сказать, Машиного отца успели арестовать при Ежове. Взяли прямо в его кабинете в Коминтерне. Но – повезло, это был уже излёт, конец июля. Я не успел даже начать суесться, обвиняками выясняя, в чём дело, – в заместители опальному, обессилевшему злому гному поставили Лаврентия, реальные полномочия фактически передав ему. И вскоре мы, опять счастливые, в который раз счастливые, встречали обалдевшего и разозлённого тестя дома. В отличие от, увы, многих мы отделались лишь, как говорится, лёгким испугом – хотя, к чести Лаврентия, напомним, вовсе не одни только мы. Правда, обратно на работу тестя так и не взяли. И теперь он, не желая и носу казать в город, покуда осеннее ненастье не выгонит, сидел на нашей даче в Опалихе, попивая то горилку, то «Выборову», что мне поочерёдно привозили по знакомству то из киевского, то из познанского торгпредств, и тихо клял предавший идеалы революции сталинский режим.

– Ну что? – спросил я. – Давай спать?

Маша в ответ всхрапнула.

Я погасил ночник.

## Факты для Надежды:

### прелюдия

1919

Перед советско-польской войной 1919–1921 годов лидер новосозданного польского государства Пилсудский определил задачи Польши так: «Замкнутая в пределах границ времён шестнадцатого века, отрезанная от Чёрного и Балтийского морей, лишённая земельных и ископаемых богатств Юга и Юго-Востока Россия перешла бы в состояние второсортной державы... Польша же, как самое большое и сильное из новых государств, могла бы легко обеспечить себе сферу влияния, которая простиралась бы от Финляндии до Кавказских гор».

1935

В книге близкого к правительственным кругам идеолога и публициста Владислава Студницкого «Польша в политической системе Европы» (Władisław Studnicki. System polityczny Europy a Polska. Warszawa, 1935), незамедлительно переведённой и изданной в Германии (Polen im politischen System Europas, Berlin, 1936), говорилось: «С польско-русской границы легче атаковать важные центры России: Петербург, Киев, Москву, — нежели с японо-русской границы в Азии. Однако может ли Польша, не располагая союзником в Европе, рискнуть своим участием в русско-японской войне? Она может рискнуть при условии, если будет находиться в союзе со своим германским соседом... Где кончаются границы Польши? Польша там, где течёт арийская, не смешанная с монгольской, кровь, там, где католицизм был носителем цивилизации, там, где римское право сформировало хозяйственные отношения. Россия, страна славянская по своему языку, но азиатская по крови и по истории... должна быть урезана с запада, востока и юга».

Сигизмунд Войцеховский в своей книге «Мысли о национальной политике и национальном государстве» (Wojciechowski Z. Mysli o polityce i ustroju narodowym. Poznan, 1935) мыслил грядущее развитие Польши так: «От Литвы политическая дорога ведёт к Латвии и Эстонии, где польское влияние уже прочно закреплено. От Латвии и Эстонии мы подвигаемся к Финляндии и Скандинавским странам. Такой должна быть сфера политического влияния Польши: от северного побережья Скандинавского полуострова до Средиземного моря».

2 мая подписан франко-советский договор о взаимопомощи, а двумя неделями позже между СССР и Чехословакией заключён договор, согласно которому СССР был обязан оказать военную помощь Чехословакии в случае агрессии против неё, если сама Чехословакия об этом попросит и если аналогичную помощь ей окажет Франция.

Польское правительство было настолько встревожено сближением Запада и СССР, что министр иностранных дел Франции Лаваль счёл необходимым разъяснить смысл договора польскому министру иностранных

дел Беку: «Иметь больше преимуществ в переговорах с Берлином и предвосхитить сближение немцев с Москвой».

С 25 июля по 20 августа в Москве проходил VII Конгресс Коминтерна. В его резолюции говорилось: «Авантюристические планы германских фашистов... рассчитаны на военный реванш против Франции, на раздел Чехословакии, на аннексию Австрии, на уничтожение самостоятельности прибалтийских стран, которые они стремятся превратить в плацдарм для нападения на Советский Союз, на отторжение от СССР Советской Украины». Как ни относиться к коммунистам, их анализ подтвердился развитием событий с абсолютной точностью, а если что и не сбылось, то лишь благодаря целенаправленному противодействию со стороны СССР.

1936

В апрельском томе «Национал-социалистического ежемесячника» (Nat.-soz. Monatshefte) опубликована статья доктора юридических наук Бокгоффа «Является ли Советский Союз субъектом международного права?» (Ist die Sovjen-Union ein Volkerrechtssubjekt?). В статье делался вывод: «Относительно Советского Союза не может существовать понятия о неправомерной интервенции... Всякая война против Советского Союза, кто бы и почему бы её ни вёл, вполне законна». Объяснение: СССР является чисто географическим понятием, так как не представляет никакого определённого народа.

В июньско-июльской книжке немецкого журнала «Путь к свободе» (Der Weg zur Freiheit) вышла среди многих прочих аналогичных статья, в которой высказана примечательная мысль: «Если вселенная захочет признать ценность германской идеи вместо того, чтобы из-за бессмысленного страха перед воображаемой опасностью бросаться в объятия Советскому Союзу и заключать с ним военные союзы, тогда настанет для Европы новое и плодотворное будущее».

На сентябрьском съезде НСДАП в Нюрнберге Гитлер произнёс одну из своих наиболее знаменитых программных речей, где, в частности, заявил: когда Рейх получит Украину, Кавказ и Урал, то «всякая германская хозяйка почувствует, насколько её жизнь стала легче».

1937

Версальским договором 1919 года в границы новообразованного государства Чехословакия была включена Судетская область, где проживало, в частности, 3,5 миллиона немцев (при общей численности населения всей Чехословакии в 10 миллионов). В апреле 1937 года партия судетских немцев потребовала полной автономии Судетской области.

1938

12 марта.

Германия присоединила Австрию (аншлюс).

17 марта.

Польша предъявила ультиматум Литве с требованием установления дипломатических отношений. Поляки рассчитывали, что оно привело бы к автоматическому признанию за Польшей территории Виленского края, отторгнутого ею у Литвы в 1920 году. Ультиматум не исключал «использования силы», если бы Литва его отклонила. Литва приняла ультиматум и таким образом де-факто признала утрату Вильнюса и окружающих его территорий. Возвращены ей эти земли были лишь как

Советской Республике Литве после победы СССР в Великой Отечественной войне.

В том же марте СССР предложил созвать конференцию с участием СССР, Англии, Франции, США и Чехословакии, чтобы «противопоставить большой союз нацистским планам закабаления мира». План был отвергнут великими державами. В неофициальной обстановке британский премьер Чемберлен объяснил отказ так: «Было бы несчастьем, если бы Чехословакия спаслась благодаря советской помощи».

16 апреля.

Англия и Италия подписали договор о дружбе и сотрудничестве, окончательно легализовавший признание Англией захвата итальянцами Эфиопии.

В том же апреле Москва подтвердила свои обязательства по советско-чехословацкому договору от 1935 года. При этом допускалась возможность оказания помощи Праге, «не дожидаясь Франции».

7 мая.

Английский и французский представители в Праге потребовали от Чехословакии, чтобы она пошла «как можно дальше» в удовлетворении требований судетских немцев и предупредили, что, если из-за её «неуступчивости» возникнет вооружённый конфликт, великие державы не будут считать себя обязанными оказывать ей военную помощь, несмотря на ранее заключённые договоры.

30 мая.

Гитлером утверждён план «Грюн», предполагавший захват и ликвидацию Чехословакии силами вермахта. Во вводной части документа постулировалось: «Главная угроза с Востока исходит от России и Чехословакии». Польша согласна была поддержать Германию при условии, что Германия, в свою очередь, поддержит территориальные претензии Польши к Литве (Виленский край) и к той же Чехословакии (Тешинская область). Позже стало известно, что обговаривалась даже возможность совместных военных действий. На этот случай планировался ввод польских войск не только в Тешин, но и в Словакию для образования общего фронта с «дружественной Венгрией».

1 сентября.

Франция официально запросила СССР, сможет ли он оказать помощь Чехословакии и какую именно.

2 сентября.

СССР в очередной раз подтвердил готовность выполнить свои договорные обязательства и передал руководству Англии и Франции план совместных дипломатических действий, нацеленных на предотвращение угрозы нападения Германии на Чехословакию. Ответа со стороны держав не последовало.

13 сентября.

Чемберлен в официальном послании королю Георгу VI обозначил в качестве одного из приоритетов английской внешней политики стремление превратить Германию и Англию в «два столпа мира в Европе и оплоты против коммунизма».

15 сентября.

Чемберлен лично вылетел в Германию для встречи с Гитлером, но на встрече с ним в Берхтесгадене не смог смягчить немецкую позицию. По возвращении в Лондон он пригласил на консультацию французского премьера и министра иностранных дел. Те прилетели немедленно. В итоге Чехословакией решено было пожертвовать, о чём её и уведомили.

19 сентября.

Чешский президент Бенеш обратился к правительству СССР с запросом относительно его позиции в случае военного конфликта между Чехословакией и Германией.

20 сентября.

Чешское правительство попросило Англию и Францию пересмотреть своё решение, а вопрос о спорных территориях вынести на арбитражное разбирательство, как и предусматривалось для подобных случаев германо-чехословацким договором от 1925 года.

В тот же день в Прагу поступило очередное подтверждение готовности Москвы прийти на помощь Чехословакии. СССР начал подготовку к оказанию такой помощи: в Киевский особый военный округ была направлена директива начать выдвижение армейских частей к границе, в боевую готовность были приведены войска вплоть до Урала.

Вечером того же дня английский посланник сообщил чешскому правительству, что «в случае, если оно будет дальше упорствовать, английское правительство перестанет интересоваться его судьбой».

21 сентября.

Посланники Англии и Франции уведомили чешского президента: если чехи объединятся с русскими, «война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне». В переводе с дипломатического языка это, очевидно, значило следующее: если Германия нападёт на Чехословакию, а СССР окажет Чехословакии помощь, войска Англии и Франция выступят против Чехословакии и СССР в союзе с гитлеровцами. После этого Чехословакия сдалась и объявила о принятии требований держав.

22 сентября.

Чемберлен проинформировал Гитлера об англо-французских «миротворческих усилиях».

23 сентября.

В ответ Гитлер потребовал передачи Германии вдобавок к уже обговорённым ещё и некоторым чешским территориям, где немцы не составляли большинства.

Венгрия потребовала от Чехословакии передачи ей части страны с преобладающим венгерским населением, а на остальной её территории – предоставления венгерскому меньшинству тех же прав, что и немецкому.

27 сентября.

Чемберлен направил Бенешу послание, в котором настаивал на дальнейших уступках Гитлеру, в противном же случае «ничто не сможет остановить германские войска, готовые к вторжению».

29 сентября.

В Мюнхене состоялась конференция Англии, Франции, Германии и Италии, вошедшая в историю как «Мюнхенский сговор». Без консультаций с Чехословакией и без её участия было определено, что, как и в какие

сроки она должна отдать Германии. За основу принятого документа был взят предложенный Муссолини проект, предварительно согласованный им с Гитлером. Великие державы гарантировали неприкосновенность Чехословакии в её новых границах на случай «неспровоцированной агрессии», но при обсуждении набросков будущего договора Чемберлен ещё 19 сентября на заседании английского кабинета министров заметил: «Решение вопроса о том, что представляет собой неспровоцированная агрессия, сохраняется за нами».

30 сентября.

Гитлером и Чемберленом подписана англо-германская декларация, в которой провозглашалось намерение обеих высоких договаривающихся сторон впредь решать все проблемы посредством консультаций и продолжать усилия по устранению разногласий. Она содержала формулировку относительно «желания двух народов никогда более не воевать друг с другом», что делало её практически равноценной пакту о ненападении.

В тот же день польское правительство передало Чехословакии ноту, в которой потребовало немедленной передачи Польше Тешинской и Фриштатской областей.

## А поговорить?

Осень в тот год как началась в апреле, так и тянулась до самой зимы.

За плачущим окошком металось серое месиво. Бесплотные полотнища домов напротив висели в мути унылыми тенями, и в них, словно прорехи, маячили блёклые окна, освещённые изнутри.

По случаю выходного я работал дома, и, хотя уже шло к полудню, мне тоже приходилось жечь настольный свет.

В дверь кабинета постучали, а потом в открывшуюся щель просунулась Серёжкина голова.

– Ты как, не очень занят? – спросил сын.

Я с удовольствием откинулся в кресле и выгнул спину, заложив за голову руки со сцепленными пальцами.

– Рад буду прерваться, – сказал я. – Всю работу не переделаешь. Не так уж часто ты теперь достаиваешь меня беседой.

Аккуратно притворив дверь за собою, сын двинулся ко мне. И пока он шёл, мои руки сами потянулись обратно к столу и перевернули все бумаги чистой стороной вверх.

А ведь на дому я работал только с несекретными документами, благо их можно было безбоязненно и беспрепятственно выносить из наркомата.

Сын, поймав моё движение, посмотрел на меня с лёгкой иронией, и только тогда я понял, что сделал.

– Товарищи, будьте бдительны, – сказал он голосом радиодиктора. – Даже ваш сын может оказаться агентом мирового империализма. Только мировой империализм не может оказаться агентом вашего сына.

Мы посмеялись, потом я спросил:

– Это что, новый анекдот?

– Какой уж там анекдот. Самая что ни есть правда жизни, – ответил он.

И уселся в другое кресло, стоявшее сбоку стола, у окошка.

Я смотрел сыну в глаза спокойно и выжидающе.

А разбуженный его появлением поганый безмозглый червяк в тёмном подполе моей души завертелся и заёрзал, задёргал вправо-влево острой головёшкой, желая немедленно знать: ну, как там у них с Надеждой? Уже? Или ещё? Вот эти молодые простецкие губы, и формой, и цветом так похожие на давние мои, уже встречались с её вишнёвыми губами, очерченными с изысканностью кленового листа? Уже целовали ей грудь?

О том, как развиваются их с Надеей отношения, сын ничего не рассказывал; да и с какой стати он, взрослый, плечистый, летающий выше облаков, принялся бы рассказывать старому папке о своих похождениях или их отсутствии?

Встречал я замечательных комсомолок, что годами соблюдали твёрдость кремня, корунда: до победы мировой революции – ни-ни, даже думать не смей; а потом, выйдя замуж – как правило, счастливо, – в одночасье превращались в домовитых, любящих, преданных жён и прекрасных матерей. Однако попадались и иные, совершенно искренне полагавшие главной из свобод и кратчайшей дорогой к раскрепощению личности беззастенчивые прыжки по чужим кроватям; эти уже к тридцати годам превращались в жёваных старух, успев обогатить мир лишь ростом числа беспризорников да, может, ещё кипами стихов средней тяжести или страстных, но бессмысленных умствований типа «как жестока жизнь, как жалок человек». Впрочем, бывает, конечно, и наоборот, жизнь, она такая – любит нарушать правила. Но из-за этого правила не становятся исключениями. К тому же в лихие двадцатые воительниц за приволье половых отношений основательно проредил сифилис и прочие



плоды свободы. Я не успел понять, к какому виду принадлежала Надежда; да это вообще трудно понять, потому что и сам-то человек себя до поры не понимает. Конечно, для сына я всей душой предпочёл бы корундовую в радости и горести, в постели, на кухне, на стройке и в окопе подругу. Но мой личный червяк из подпола... Ох, до чего ж ему, паскуднику, мечталось, чтобы каким-нибудь чудом Надежде взбрело в голову раскрепоститься как личности именно со мной!

– Ну ладно, – сказал я. – Предположим. Крошка сын к отцу пришёл. И спросила кроха?..

Я намеренно придал последней фразе несколько вопросительную интонацию. Мол, какие проблемы?

Молодой сталинский сокол – а кого ещё и называть так, если не Серёжку и не таких, как он? – от неловкости взъерошил волосы, но ответил почти без паузы:

– Коммунизм-то хорошо. А что там будет плохо?

– Ого! – сказал я.

Надо было собраться с мыслями, и я взял неприметный тайм-аут.

– Тогда для начала всё-таки анекдот. Почти по теме. Пап, откуда берутся дети? Ах вот ты о чём, сынок, сказал отец и глубоко задумался.

Вежливо, но мимолётно улыбнувшись, он наклонился вперёд, словно решил было пойти на таран своей лобастой головой, но в последний момент передумал. Я понял: у него что-то случилось важное, и так просто мне не отшутиться.

– Коммунизм мы лет через пять – семь построим, – убеждённо сказал он. – Сейчас такой темп взяли, что... Ну, если Гитлера бить придётся, то через десять. Это понятно. А дальше-то что?

– То есть как? – картинно опешил я. – Эк тебя, сынище...

– Ну что мы тогда делать будем?

– Серёга, ну нельзя так ставить вопрос. Ты дом себе новый ставишь, свой, по своей задумке, – так какой смысл спрашивать, что будешь делать потом, когда туда переселишься? Будешь жить! Дом – он не для конкретного занятия, а для жизни вообще!

– В том-то и дело! – горячо сказал он и опять взволнованно взъерошил себе волосы. – Жить. Дом не цель, а средство. И коммунизм тоже. Жить – это ведь не в четырёх стенах сидеть, любуясь мебелью. Жить – это и есть что-то делать! А что? Растапливать полярные льды? Так ещё неизвестно, будет ли от этого польза, учёные пока точно не сказали. На Луну летать? Я бы душу заложил, чтобы повести ракету, но ведь я же первый понимаю, что всем туда не полететь, да и не надо. Не всем же этого хочется. И даже если хочется – опять-таки: зачем? Зачем на Луну? Чтобы построить там базу и потом лететь на Марс? А тогда зачем на Марс? Понимаешь, пап, я подумал: коммунизм – это же всего лишь учёное слово, а на самом деле это когда каждому человеку интересно жить. А так бывает, только когда делаешь, что хочешь. Ведь коммунизм – это свобода, какой раньше никогда не было! Свобода делать, что хочешь! А люди хотят чёрт знает чего.

– А! – с некоторым опозданием уразумел я. – Вот что ты...

– Ну да! – горячо и нетерпеливо поддакнул он. – Если всякому дать свободу делать, чего вздумалось, многие так накуролесят, что небо с овчинку покажется. А если одним давать свободу, а другим не давать – то кто решит, кому дать, а кому нет? Какие желания правильные, наши, а какие – из-за пережитков старого строя? Партком? Или вообще – органы? Тогда какая, к фигам, свобода?

– Вообще-то считается, что при коммунизме будет чрезвычайно сильная педагогика, – осторожно сказал я. – С детства все будут очень хорошо понимать и помнить, что такое хорошо и что такое плохо.

– То есть сызмальства что-то вроде программки будут в мозги вбивать? – запальчиво спросил сын, и мне показалось, что это он говорит уже не совсем от души, но со слов, скорее всего, слишком уж образованной Надежды.

Ещё со времён дискуссий у Плеханова я знал и ненавидел этот приём, инстинктивно обожаемый умниками-пустословами и мигом лишаящий любой спор малейшей возможности породить истину: назвать что-то по сути полезное словом формально подходящим, а на деле унижающим, извращающим суть; словом, за которым тянется крокодилий хвост гадостных ассоциаций, и тем подменить реальную тему обсуждения необходимостью поспешно и бестолково доказывать, например, что лекарство – отнюдь не всегда яд.

– А ты бы чего хотел? – Я с нарочитой суровостью сдвинул брови. – Вот сам подумай, сын. Почему люди так не любят несвободу? Не потому, что свободный всегда ест сытнее или у него всегда женщин больше. Частенько бывает наоборот. Несвобода – это когда тебе приходится под каким-то внешним давлением поступать против совести. Вот тебе стыдно что-то делать, тошно, тоска берёт, знаешь, что на всю жизнь потом останется в душе червоточина, – а тебе говорят: делай, иначе твою мать повесим. Твоего ребёнка удушим газом. Или просто тебе самому жрать станет нечего. И ты делаешь. Ненавидишь себя, проклинаешь всех вокруг, целый мир тебе становится омерзителен – но делаешь. Вот что такое несвобода. А свобода – это возможность поступать по совести. Чувствуешь, что поступаешь правильно, честно, благородно, как подобает, и тебе ничего за это не грозит, никто тебя не осудит, никто не помешает, никто не схватит за локти. Поэтому делаешь – и радость: хорошо поступил, да к тому же ещё и не пострадал. Вот свобода. Но совесть же не программка с бумажки, которую начальник торопливо на коленке нацарапал. Это результат культурного программирования. Тысячу лет народы на ощупь тыркались, выясняя, что можно, а что нельзя. Что к общей пользе, а что к общему вреду. Каждый немножко по-своему, потому что история у всех немножко разная. И результаты их мучений закрепились в культурах как голос совести. А вот если распадается культура и прекращается программирование – свобода превращается в кровавый бардак: кто сильнее, тот и свободней. Если совести нет, поступать по совести в принципе нельзя, и тогда о свободе говорить бессмысленно. А если совесть есть, то разом появляется и свобода, и её пределы.

Сын помолчал, напряжённо хмурясь. Ветер на улице задул свирепее, и косой мелкий дождь, в котором становилось всё меньше снега, принялся в такт порывам то сильнее, то слабей жужжать на слепнушем от воды стекле.

– Но человек же всё равно не машинка железная. И программа эта... она всё равно куда сложнее. Не могут же все в равной степени...

– Да, конечно. Не могут. Считается, что тех людей, у кого засбоило, мало-помалу скорректируют товарищи... старшие коллеги... Да просто – жизнь. Осуждение тех, кто дорог или кто уважаем.

Он опять помолчал.

– То есть если человек сделал что-то не так – при коммунизме его никто не простит, а, наоборот, будут пальцами показывать: ты не прав!

– Ну что за мания у тебя – искать общее решение для проблем такого сложного уровня, как жизнь? Дитя ты ещё, Серёжка. Это же не элероны-лонжероны. Гошисман на себя – вверх, от себя – вниз... Однозначности тут нет и быть не может. Но в целом – как в реке. Завихрения есть, стремнины, заводи, перекаты, омуты иногда, но вся она целиком всё-таки течёт к морю, а не от него.

– Гошисман сейчас уже не говорят... – пробормотал он.

– Ну, в моё время именно так аэропланами управляли... Неважно. Ты понял, о чём я.

– Да понял, понял... Но тогда получается, пап, что коммунизм – это не экономика никакая, не строй, не формация... Это просто люди. Не организация, не уровень производства –

просто сами люди? Неважно, сколько там киловатт-часов или кубометров древесины производится на душу населения, важно только, какова сама душа?

– Ну, – сказал я, поражённый этим неожиданным и, наверное, правильным выводом, который в таком вот обнажённом виде мне в голову никогда не приходил, – можно сказать и так. Хотя, должен тебе напомнить, сильно с голодухи совесть может затихнуть даже у самых совестливых. Это тоже надо иметь в виду.

– Но тут же дело в правильной мере! – снова разгорячился он, принявшись страстно, как всякий новообращённый, развивать только что открывшуюся истину. – Чтобы не много и не мало. Чтобы и не голод, и не ожирение. Слушай, но тогда, может, партии надо было сразу честно сказать: хотите ходить в полотняных штанах и брезентовых штиблетах, но жить в доброте и чистоте, отзывчивости и правде? Или хотите «роллс-ройсы», и «паккарды», и раз-ные галстуки на каждый день, но зато рвать друг друга зубами и когтями ради этих дурацких галстуков?

Тут уж пришёл мой черёд помолчать и послушать, как лихорадочными волнами налетает на изрыдавшееся окно мелкая водяная дробь и пыль. Почему-то стало очень грустно.

Когда вечные вопросы довести до детской простоты и уже тогда взглянуть им в лицо – всегда делается очень грустно. И как-то даже безнадежно.

– Ты, наверное, ответил бы, что предпочитаешь чистоту и правду, – тихо сказал я. – Я тоже... Ещё кто-то... Но уж слишком для многих выбор не показался бы таким простым, как для нас с тобой. И к тому же... Как всегда, найдётся множество очень эрудированных и умных, языки подвешены так, что мама не горюй, и они заголосят: да что ж вы народ-то обманываете! Видно, просто хотите держать добрых людей в чёрном теле и устроить себе роскошную жизнь за их счёт! На самом деле у нас будут и галстуки на каждый день, и хрустальные дворцы для доярок, и при этом все мы будем бескорыстны, добры и отзывчивы. И ведь многие сами будут верить в свои слова! Потому что им так хочется. Когда человеку чего-то сильно хочется, он всегда может доказать, что это и правильно, и достижимо... И чем больше человек знает, чем он умней – тем легче и убедительней он это докажет. Знаешь, когда-то один мой хороший товарищ замечательно сказал: мозг есть механизм для оправдания того, что нравится, и обвинения того, что не нравится. А ведь голодный народ добротой соблазнить трудно, а сытостью – легче лёгкого.

Серёжка надолго умолк. Но – сидел, не уходил. Похоже, он хотел теперь сам что-то рассказать, но не решался. В подвале души щекотно вскинулся червячок, заставив душу ёкнуть: может, про Надежду?

– Да что у тебя случилось-то, сын? – спросил я.

Он вздохнул и откинулся на спинку кресла.

– Да тут такое дело... – запнулся. – Помнишь Вадьку Некрылова?

Похотливый червь разочарованно обмяк и опять свернулся колечком.

– Имя помню, – сказал я. – От тебя слышал не раз... А лично... Вроде бы мы не встречались. Это товарищ твой, так ведь?

– Не просто товарищ, – мотнул головой Серёжка. – В училище все годы вместе, на соседних койках. В одной эскадрилье вместе... Лётчик прирождённый. И в стратонавтику я его уговорил, стало быть, и тут вместе. И вот поди ж ты. Занесло его пивка попить в компании с двумя штатскими. Они-то в цивильном, а он в форме. Пивка попили, водочкой полирнули... В общем, в драбадан. А тут патруль. А он ещё и драться с патрулём полез. Ну, штатским – ничего, а ему... сам понимаешь. А я-то его знаю! Никто его, как я, не знает! И вот я поручился за него. Пошёл на самый верх, добился приёма в парткоме... Я же комсорг группы, кому, как не мне... Поручился. Целую речь там закатил, минут на пятнадцать. И, понимаешь, уломал, поверили. Отделался Вадька выговором, но не уволили, не выгнали...

Он смятенно умолк. Я понимал. Рассказывать такое – не о коммунизме спорить. И стало предельно ясно, с какой радости его заинтересовали отвлечённые материи.

Нам всегда только кажется, будто мы отвлечённые материи обсуждаем. Даже когда мы этого не осознаём, мы всего лишь мусолим личные проблемы. Самые насущные, самые простые. Самые человеческие.

– И вот теперь я думаю... – мучительно выдавил он. – Может, я ему только хуже сделал?

– Почему?

– Ну ты же сам сказал. При коммунизме осуждение окружающих – единственный механизм исправления неправильного поведения...

Тогда я потянулся к нему и потрепал его по коленке. Эх ты, сталинский сокол... Так и хотелось взять его на руки и побаюкать, как встарь. У киски боли, у собачки боли, а у Серёженьки – заживи...

Дай подую – всё пройдёт.

– Этого никогда нельзя знать наперёд, – сказал я. – Может, ты его, наоборот, спас. Только будущее покажет.

– А пока не покажет – мне что же, каждый день на луну выть?

– Нет. Просто жить. Знаешь, у попов была красивая сказка...

– Вот только поповщины не надо!

– Да погоди ты. Шалаву одну хотели камнями побить насмерть, а этот их Христос сказал: вы сами-то, ребята, кто такие? Святых не наблюдаю! Так что разошлись, пока я добрый! А шалаве сказал: иди и впредь не балуй.

– Ну да, – поразмыслив, мрачно подхватил Серёжка. – И она так усовестилась, что записалась в народovolки. И под римского кесаря бомбу кинула.

Мы помолчали, ощущая, как распрямляются согнувшиеся было спины, а уныние, точно ненароком пролитая с небес ледяная густая вода, высыхает на нас обоих, испаряется стремглав под семейным солнышком, – и облегчённо захохотали. Всё. Жизнь взяла своё.

Сын, ещё посмеиваясь, встал, благодарно коснулся рукой моего плеча и, повернувшись, пошёл к двери. На пороге оглянулся.

– Да, я же совсем забыл сказать. Надя нас на будущей неделе зовёт на какое-то культурное мероприятие. В литературное кафе, что ли...

От горла до паха покатил медленный ледяной обвал.

– Нас? – с трудом сохраняя небрежный тон, спросил я. – Или всё ж таки тебя?

– Представь – нас всех. Маму, тебя, ну, меня. Она же, знаешь, светская такая, благовоспитанная... Типа «будем дружить домами». И вся в искусстве, в литературе, в поэзии... В Третьяковку вот водила меня...

– Ну и как? – не удержался я.

– Облачность ноль баллов, видимость хорошая, – ответил он. – Теперь вот какие-то её знакомые пронюхали про диспут о современной литературе, это жуть как престижно у них считается, чтобы туда попасть. А она сразу нас хомутает. Пойдёшь?

– А маме ты говорил?

– Нет ещё. Сейчас вот к слову пришлось.

Не было ничего проще, чем отказаться. Я уже собрался было так и поступить. Уже открыл рот. И тут-то и кинулся башкой в омут.

– Честно говоря, я бы сходил. Грех терять случай посмотреть на властителей дум в естественной обстановке.

– Тогда я так и передам.

– Передай. И маме скажи, не забудь.

Оставшись один, я снова перевернул бумаги, но на ум уже ничего не шло. Надо было успокоиться и хоть чаю выпить, что ли. Я с досадой, но не в силах сопротивляться порядку,

опять опрокинул документы; так нервноболезные моют руки по сто раз на дню. Вышел на кухню. Маша сидела за просторным кухонным столом, присматривая, верно, за готовившимся дать пену бульоном, и работала – судя по всему, правила какие-то свои лекционные наметки. Похоже, наспех. Новые указания поступили, не иначе.

У неё привычки прятать личную часть документов не было. А у меня, грешен, привычка заглядывать в чужие бумаги, моментально фотографируя их взглядом, была. Столь же многолетняя, как и привычка свои бумаги не показывать никому. Это две стороны одной медали. Профессиональная болезнь. В глаза мне бросилась крупная, свежая правка красным карандашом: зачёркнуто было «Сохранение и укрепление выстроенной ими тюрьмы народов являлось для русских предметом национальной гордости» и поверх, с выгнутым залётом на чистое боковое поле страницы, размашисто вставлено: «Русский царизм старательно стравливал находившиеся под его гнётом народы и сеял между ними бессмысленную вражду, самым этим народам не нужную и не свойственную».

После того вечера Надежда не вставала между мною и Машей ни разу, ни вживе, ни холодным призраком, мешающим коснуться друг друга; и всё же что-то происходило с нами. Вирус. И не понять было, кто оказался ему подвержен сильней.

Первый жутковатый сигнал послала мне наша прогулка в Сокольниках.

В прошлый выходной, улучив сверкающий золотом и синевой погожий день, мы отправились в любимый парк. У нас получалось выбраться туда от силы два-три раза в году, и всякий выход долго вспоминался потом, как яркая перебивка безмятежностью нескончаемой череды серых хлопот. Как вспышка истинной жизни. С гордостью за дело рук человеческих мы доехали до парка на гулком, всё ещё непривычном метро и неторопливо пошли сквозь шелестящую тишину по любимым тропинкам. Загребали ногами листья, как прежде, я вёл её под руку, как прежде...

И были каждый сам по себе.

Не о чем оказалось говорить. Впервые. Я-то рассчитывал, что мирное блуждание среди выученных назубок, давно уже в лицо узнаваемых деревьев, кустов и уютных лавочек нас реанимирует, мол, деревья те же, скамейки те же, и мы станем те же; не тут-то было. Наоборот. Заповедник свободы и покоя стал будто картонным. В обрамлении неизменных красот мы окончательно ощутили, что изменились. Ошеломлённый, я пытался чуть ли не по-бабьи щебетать обо всём сразу, наугад нащупывая, на что жена срезолирует, пытаюсь разговаривать её и снова соединиться с ней, как всегда прежде: смертельно соскучившись друг по другу за целые недели рабочих авралов, когда мы разве что парой фраз успевали перекинуться утром или перед сном, мы под этими самыми кронами оставались наконец наедине, в сладостной неторопливости – и наговориться не могли, и смеялись, как дети. Но теперь я сам ощущал во всех своих разглагольствованиях о глупых или буйных сослуживцах, о задумтой недавно домне, о том, помнит ли она, как забавно Серёжка учился плавать, о доверчивых синичках или смешных собачках какую-то нескончаемо дребезжащую фальшь. Мои слова на полпути валились наземь вокруг жены, точно мрущие на лету мухи.

В конце концов горло мне будто запечатали. Мы пошли молча, и, к собственному ужасу, я был рад, когда наши родные петли, вмиг сделавшиеся тягостной работой, оказались пройдены и можно стало спуститься в метро и поехать навстречу рутине.

Правда, ещё до полуночи всё вроде бы выяснилось. После близости, убедившись, наверное, что уж хочу-то я её, как всегда, она вдруг беспомощно и смущённо призналась: она тоже ехала в парк в предвкушении молодой беззаботной лёгкости, но у неё почти сразу разболелось от ходьбы колено, и все наши возжеленные километры она прошагала, перевозмогая нарастающую боль; сказать же об этом мне так и не посмела, не желая испортить долгожданный день. У меня сердце чуть не лопнуло от нежности и сострадания. Мужчине, наверное, и близко не представить, что это для женщины: оказаться там же, где всегда было

хорошо, делать то же, от чего всегда было хорошо, и обнаружить, что собственное тело делалось этому «хорошо» внезапной и неодолимой преградой. Полночи я самозабвенно втирал ей в колено какую-то новомодную мазь со змеиным ядом, счастливый тем, что хоть что-то полезное могу для неё сделать, раз уж – то ли помертвев от тщетных усилий спасти мир, то ли из-за Надежды, то ли просто начав стареть – не могу её любить, как прежде.

И всё же... Всё же...

Она оторвалась от бумаг и подняла голову. Сдвинула на лоб очки.

– Ну как? – спросила она.

– Что? – спросил я.

– Работаете?

– Ух, работаю.

– Напряжён?

– Что ты имеешь в виду? Работаю напряжён или в мире напряжён?

– В мире.

– В высшей степени.

– Слушай... – нерешительно протянула она. – Я тебя никогда ни о чём не спрашиваю, у вас там всё секретно, я знаю. Но сейчас даже в очередях говорят, что с Польшей какие-то проблемы. Претензии немцев на Данциг...

– Никаких проблем, – сказал я, осторожно трогая гладкий бок чайника. Горячий. Потянулся и снял с полки свой стакан с краснотрёхзвёздным подстаканником. – Йэщче Польска нэ згинэла.

– Я серьёзно, – сказала Маша.

– И я серьёзно. Оттяпали под шумок у несчастных чехов Тешин... Дескать, если эсэсовцам можно, чем мы хуже?

– Ну, знаешь, тешинский повят – это действительно исконные польские земли.

– Маша, Берлин – исконно славянский город. Может, сделаем предьяву фюреру?

– Не смешно, – сухо сказала она. – Я хочу знать только одно: мы спасём Польшу?

– Кто бы нас спас, – ответил я.

Она негодуяще помотала головой и надела очки снова. Будто отгородилась.

– Этот ваш вечный эгоизм... – сказала она.

## Факты для Надежды:

### 1938. Октябрь

2-е.

Польские войска заняли Тешин (Юго-Восточная Силезия) – небольшой, но стратегически важный и промышленно развитый район Чехословакии.

3-е.

Германский посол в СССР фон Шуленбург в частном письме из Москвы написал в Берлин: «Правительство здесь крайне недовольно исходом кризиса. Лига Наций вновь оказалась мыльным пузырьком. Взлелеянная Литвиновым „коллективная безопасность“ оказалась неэффективной. О Советском Союзе никто не позаботился, не говоря уже о том, чтобы пригласить его участвовать в переговорах. Система пактов Советского Союза в значительной степени ослаблена, если не разрушена

вовсе. Это неприятные факты, вызывающие здесь раздражение. Но гнев направлен не столько против нас (ибо здесь понимают, что „мы“ взяли только то, что само шло в руки), сколько против англичан и французов, которых осыпают резкими упрёками». Именно в октябре 1938 года Шуленбург впервые начал задумываться о том, что возникшую после Мюнхена международную изоляцию СССР следует использовать для налаживания отношений между Москвой и Берлином.

9-е.

СССР запросил чехословацкое правительство, «насколько оно считает желательным для себя включение СССР в число гарантов новых границ Чехословакии».

14-е.

Чехословацкий представитель в Москве ответил, что новый министр иностранных дел Чехословакии Хвалковский не счёл этот вопрос уместным и воздержался от ответа, полагая, что гарантии безопасности чехословацкого государства в его новых границах относятся к компетенции великих держав, подписавших Мюнхенское соглашение.

16-е.

На прощальной встрече с покидающим свой пост послом Франции в СССР Кулондром нарком иностранных дел СССР Литвинов посетовал: Франция уклонялась от попыток советской стороны достичь соглашения о помощи Чехословакии даже тогда, когда эта страна столь сильно в такой помощи нуждалась. Кулондр спросил, что, по мнению советского руководства, можно было бы предпринять теперь. Литвинов ответил: «Утраченного не вернуть и не компенсировать. Мы считаем случившееся катастрофой для всего мира».

18-е.

Советник германского посольства в Варшаве фон Шелия, прощупывая в беседе с одним из высших чинов польского МИДа Кобылянским позицию Польши относительно СССР, получил ответ: «Польша при определённых условиях готова выступить на стороне Германии в походе на Советскую Украину». Советская разведка довела содержание этой беседы до кремлёвского руководства той же осенью.

21-е.

Гитлер в очередной директиве сформулировал ближайшие задачи вермахта. В директиве имелся специальный раздел «Решение вопроса об оставшейся части Чехии». В нём говорилось: «Должна быть обеспечена возможность в любое время разгромить оставшуюся часть Чехии, если она начнёт проводить политику, враждебную Германии».

24-е.

Министр иностранных дел Германии Риббентроп через польского посла в Берлине Липского предложил Польше скоординированную политику в отношении СССР на базе антикоминтерновского пакта. Взамен Польше предлагалось согласиться на передачу Германии Данцига, важнейшего балтийского порта, утраченного Германией после поражения в Первой мировой войне и объявленного вольным городом, но фактически находившегося под польским контролем (после окончания Второй мировой войны – польский порт Гданьск). Риббентроп намекнул на готовность обсудить и более масштабные планы, например передачу Польше всего

черноморского побережья СССР, которое предполагалось отторгнуть в ходе совместных военных действий. Взамен Польше предлагалось передать Германии балтийское побережье, по Версальскому договору отобранное у Германии и переданное Польше, а потому являвшееся барьером между собственно Германией и Восточной Пруссией. Липский дал понять, что Польша весьма заинтересована в координации антисоветской политики, но воздержался от конкретных высказываний.

31-е.

Посол Германии в Великобритании Дирксен доложил в Берлин: «Чемберлен питает полное доверие к фюреру. Мюнхенский протокол создал основу для перестройки англо-германских отношений. Сближение между обеими странами на длительное время рассматривается Чемберленом и английским кабинетом как одна из главных целей английской внешней политики, поскольку такое решение самым эффективным образом может обеспечить мир во всём мире».



## Властители дум

В последний момент Маша отказалась идти с нами. И голова у неё разболелась, и с годовым отчётом она не поспевает... Странно. Сама же поначалу ухватила за идею побаловаться культурой.

Мне стало не по себе. Если бы она хотела, то и с отчётом бы извернулась, и от головы таблетку приняла бы; кто не хочет, тот ищет причины не делать, а кто хочет – ищет способы сделать. Не взбрело ли ей в голову оставить нас с Серёжкой в компании Надежды и её приятелей без себя с целью посмотреть, что выйдет? Или это нечистая моя совесть вздымает по горизонтам мрачные миражи? А может, Надя стала жене неприятна? Или она, глупышка, не хочет мелькать с молоденькой рядом, опасаясь, что по контрасту возраст заметней? Я не знал, что и сказать. Настаивать? Но если ей действительно некогда, неумоготу и не хочется? Легкомысленно сказать: ну и ладно, посиди дома? А если её именно эта лёгкость и обидит, и послужит доказательством, будто я рад-радёшенек отправиться без неё?

А больше всего меня пугало, что я, может, и впрямь рад.

Я затаил было унылую песню о том, что если она не пойдёт, то и я не пойду, нечего мне там делать одному среди Серёжкиных сверстников, но тут по простоте своей упёрся сын: пап, это и тебе будет любопытно, и ты, вообще говоря, уже обещан. Надежда всем давно раззвонила, что тебя очень интересно слушать, и настаивала, чтобы я тебя привёл... Вот ещё новости, в сладком ужасе подумал я, а Маша, заслышав такое, буквально взашей вытолкала меня из дома.

Хорошо, что я не из вождей, чьи лица примелькались в газетах и на экранах. Я всегда прятался в сторонке, и вот теперь это снова играло мне на руку. Я мог безбоязненно ездить хоть в трамвае, хоть в метро, хоть в кино ходить на общих основаниях; и вот теперь, шагая в писательский клуб, ещё и поёживался: я же не писатель, а вдруг там строго и меня не пустят? Даже вообразить нельзя, как повёл бы себя народ, повстречав в вагоне одиноко цепляющегося за вислую ремённую петлю Лаврентия, Лазаря или, скажем, завидев Кобу, смиренно просящего, несмотря на отсутствие у него писательского удостоверения, пустить его на нынешнюю вечеринку. Впрочем, просто не поверили бы своим глазам. Решили бы, что сходство. Милицию, наверное, вызвали бы на всякий случай: мол, антисоветская выходка – какой-то враг народа с неизвестной целью загримировался под всенародно и горячо любимого...

Мне же ничего подобного не грозило.

В дыму первого морозца светили окружённые мерцающими пузырями московские фонари. Сновали по Садово-Кудринской да по Малой Никитской приодевшиеся, забывшие хоть на субботний вечер про вражеское окружение и про линию партии возбуждённые и добрые в преддверии отдыха люди. Стоявшие у входа тесной группой молодые, беспримесно весёлые, издалека замахали руками Серёжке и, надеюсь, мне, и окружили нас, и с пол-оборота загалдели о чём-то своём, так что я сразу оказался от них наособицу: потрепанный Гулливер среди могутных лилипутов, хоть и усохший ростом и весом до их размеров, но вовсе не ставший для них своим... Буржуазные церемонии тут были не в чести; Серёжка меня даже не представил никому, ни с кем не познакомил – мол, и так разберёмся, по ходу. Я прятал глаза; они не увидели Надежду сразу и хотели немедленно её нашарить, вырвать из гущи себе на потребу, и потому я не смел не то что озираться в поисках, но вообще уткнул взгляд в асфальт. И едва не споткнулся на ступеньках перед входом. Тогда её голос, тупо ударивший меня в сердце, вдруг запросто назвал меня по имени-отчеству, а её пальцы подхватили мой локоть.

– Не тушуйтесь. Мы совсем не марсиане.

– Да и я не инженер Лось, – нашёлся я, вовремя вспомнив Толстого с его слюнявой «Аэлитой».

– Я знаю, – сказала она. – Вы лучше. Надёжнее.

Я наконец взглянул. Её беретик съехал чуть набок. Из-под него фонтаном били пахнущие чистотой волосы. Её глаза смеялись, щёки покраснелись, улыбающиеся губы были полуоткрыты. Я чуть не взвыл с тоски. Другой рукой она подхватила под руку Серёжку, и так, крепко спаянной троицей, мы вошли в клуб.

– Вообще-то говоря, – начал Серёжка, – субсветовые эффекты во время марсианской экспедиции можно было описывать только по крайней неграмотности...

Внутри в фойе стоял штатский патруль – как я понял, более играя, нежели кого-то от кого-то охраняя всерьёз. Ребята резвились, не ведая, куда девать избыток молодого юмора и задора. Старший караульный с каменным лицом спросил: «Среди созвездий и млечных путей?» Парень в кожаном полупальто, бывший в нашей компании, надо полагать, вроде заводилы, сурово отчеканил: «Советская проза всех развитей!» И нас всех с хохотом пропустили.

В зале кафе, куда мы вошли, раздевшись в роскошном и даже несколько старорежимном гардеробе, оказалось полутемно. На сцене торчали микрофоны и громоздился музыкальный инвентарь, живо напоминая последние сцены «Весёлых ребят». Ну да, ага. Вот именно. Тюх, тюх, тюх, разгорелся наш уют... Овальные, обильно сдобренные салфетками столы были обсажены мужчинами в костюмах с галстуками и женщинами в вечерних платьях и даже серьгах. Перед кем-то стояли тарелки, перед кем-то графинчики и рюмки, но, когда мы вошли, все в основном слушали. На сцене пока не пели, но говорили. Один говорил.

Обмениваясь вполголоса только самыми необходимыми репликами, мы не без труда нашли свободный стол и принялись гнеститься вокруг него. Надежда так и держала нас с Серёжкой по бокам вплотную к себе; её обнажённые плечи мерцали, будто яшмовые. Я, не давая сердцу ни малейшей воли и оттого начав вести себя, как на работе, на саммите каком-нибудь, с автоматической галантностью отодвинул для неё стул от стола, предлагая садиться. У неё с весёлым удивлением взлетели брови.

Даже брови были красивыми. Даже то, как они взлетели, привораживало.

– Вы будто в штате у барона Фредерикса всю жизнь прослужили, – шёпотом сказала она.

– Твоя эрудиция, Надя, внушает трепет, – чуть наклонившись к ней, прошептал я в ответ. – Не всякий нынче вспомнит последнего министра двора его императорского величества.

– Я девушка начитанная, – сказала она.

– Ей палец в рот не клади, – шепнул сбоку Серёжка.

Вот сказал так сказал. Я чуть не сгорел на месте. А он – ничего; уселся, скрипнув ремнями, и ногу на ногу положил. Надежда беззвучно засмеялась, а потом грозно лякнула в его сторону зубами.

От соседнего столика на нас зашикали: мол, мешаете. Мы притихли. Остальные ребята и девчата из нашей компании уже обмерли, внимая. Надежда опустила на предложенный мною стул и опять оказалась между мной и сыном; несколько секунд я непроизвольно пытался определить, к кому из нас ближе. Потом поймал себя на этом идиотизме, отвернулся и стал смотреть и слушать.

Оказалось, докладчик напоминал собравшимся коллизию, из-за которой разгорелся сыр-бор. Минут через пять я сориентировался. Сориентировался бы и быстрее, однако судьбе оказалось угодно, чтобы я безо всякого умысла усадил Надежду дальше от сцены, чем потом плюхнулся сам. Внимая оратору, видеть её я не мог. Зато она предпочла устроиться к сцене лицом, к столу боком, и, если я, дразня и мучая себя, опускал глаза, мне в поле зрения

невозбранно и для самой Надежды неведомо влияли её устремлённые ко мне, облитые длинным узким платьем юные бёдра и тонкие колени, которым ещё ох как нескоро понадобится мазь со змеиным ядом; а время от времени шею мне горячило её дыхание и долетал сладкий запах её «Красной Москвы». Тут становилось не до оратора.

Однако мало-помалу я понял: с неделю назад в «Красном литераторе» вышла передовица, поставившая буквально все перспективы пролетарской словесности в зависимость от отмены цензурного запрета на то, что называют непечатными выражениями. По-простому – на матюги. Новая жизнь требует новой литературы. Новой литературе нужны новые выразительные средства. Основополагающие принципы социалистического реализма обязывают писателя, если он действительно честный и преданный идеалам марксизма-ленинизма-сталинизма советский писатель, отображать жизнь не в эстетском застое, но в революционном развитии. Как следствие – повседневную речь народа он тоже должен отображать так, как она есть, без лакировки и ханжества.

– Современный читатель презирует святош и чистюль с их высосанными из пальца проблемами и велеречивостью феодальных времён, – пореволюционному жестикулируя кулаками, чеканил человек на сцене. – Он им не верит. Он не верит, что у таких персонажей есть чему поучиться. Это всё равно что заставлять ткачиху-многостаночницу, самоотверженную героиню труда, перенимать манеры лицемерных барышень-белоручек из института благородных девиц. Их время ушло, товарищи, и ушло навсегда. Речь современного человека труда конкретна, искренна, сочна и бьёт точно в цель. На такую речь мы и должны ориентировать читателя. Нет в наше время более важной проблемы у советской культуры, нет более масштабной задачи, чем добиться наконец полной отмены запретов на то, что старорежимные фарисеи продолжают на буржуазный манер называть обценной лексикой!

Потом выяснилось, что та программная статья не только нарисовала желанную перспективу, но и призвала к конкретным действиям. А именно – под опубликованным воззванием с требованиями отменить «позорные мещанские запреты» и «дать наконец литературе говорить языком живой жизни» следовало подписываться. Когда на документе накопилось бы достаточное количество известных и даже громких имён, его предполагалось передать напрямую в Наркомпрос.

Скандал разгорелся четыре дня назад, когда активисты с воззванием наперевес пришли, вымогая подпись, к Ахматовой (это поэтесса такая), и она только что не спустила их с лестницы.

Принесли вино – хоть залейся и закуски – бутербродики с икрой, с красной и белой рыбкой. Я и не знал, что партия этак балует своих мастеров культуры. На кремлёвский буфет тянет. Сам пугаясь своей смелости, я, чтобы чокнуться, решительно повернулся к чутко тянувшейся в сторону говоруна Надежде, и её приоткрытый рот и блестящие глаза оказались от меня на расстоянии вытянутых губ. В сумерках зала зрачки были огромными, точно от белладонны или любви. Я отшатнулся, заслонившись бокалом, как щитом. Тукнул его краем в её бокал.

Потом, взяв себя в руки, потянулся мимо Надежды к Серёжке и чокнулся ещё и с ним.

– Будьте счастливы, ребята, – отечески произнёс я.

– Взаимно, батюшка, взаимно, – сказал сын, салютуя мне своим бокалом, а потом разом, видно, что с удовольствием, махнул до половины.

Надежда улыбнулась.

– Только все вместе, – уточнила она и пригубила.

Шут его знает, что она этим хотела сказать. Чтобы не выдумывать слишком уж лестных для себя, вконец нескромных толкований, я неторопливо, но не прерываясь, время от времени катая вино от щеки к щеке, глоточками вытянул весь бокал. Вкусно. Мягкое тепло закралось в солнечное сплетение, воровато тронуло сердце.

Человек на сцене продолжал неумоимо месить кулаками воздух. Точь-в-точь Троцкий на дивизионном митинге.

– Может, эта святая блудница хочет сказать, будто не знает таких слов? Никогда их не слышала и не говорила? Может, она всю жизнь пролежала на розовых лепестках? Да нет! Ходила она по Шпалерной, моталась она у Крестов! Может, пока она моталась у Крестов, ни одного крепкого словечка не произнесла? Не верю! Вот не верю, и ни один нормальный человек не поверит этой старой ханже. Просто она кривит душой! Хочет быть красивее, чем есть! Не любит правду, не признаётся! А может, и пуще того? Может, барынька намекает, что мы все по сравнению с ней быдло? Что ж! Умеющие кое-как рифмовать старорежимные распутницы нам не указ, и мы ей тоже намекнём! Все разом!

– Ну и хамло, – вполголоса сказал сидящий напротив меня рослый парень, произнесивший у дверей отзыв на пароль. И окончательно мне понравился.

В конце концов распечатку воззвания пустили по столам, чтобы всяк мог незамедлительно поставить подпись. По заключительным фразам речи можно было понять, что воззвание в нынешней редакции дополнено осуждением «некоторых безнадёжно отставших от жизни двуличных стихоплётков и стихоплётков, ставящих палки в колёса стремительному паровозу новой литературы».

– А вы как к мату относитесь? – вдруг спросила персонально меня Надежда.

И я заметил, что на меня уставились за нашим столом все. Что ж она им наплела про меня, подумал я, мучительно стараясь сообразить, как ответить по-умному. Какой бы ты ни был дипломат – прежде всего надо хоть чуть-чуть представлять, что именно от тебя хотят услышать. Потом понять, что ты сам-то хочешь сказать. А потом сформировать и не то, и не другое, а сразу и то и другое. Этакого тянитол-кайчика.

Скажешь, что не люблю, – глядишь, тоже в ханжи попадёшь. А скажешь «люблю» – муть какая-то получится: что в нём любить-то? Мат не девчонка...

– Знаете, товарищи, – сказал я, – мне его жалко.

– Жалко? – удивлённо переспросила задорная конопатая девушка, сидевшая рядом с рослым.

Серёжка, рассеянно двигая взад-вперёд по белой скатерти свой полупустой бокал, молча усмехался: он верил, что я в грязь лицом не ударю. А Надежда смотрела мне в рот, будто ожидая услышать невесть какие откровения.

– Ну конечно. Это же слова-реакции, слова-физиологизмы. Вот если ударил себя молотком по пальцу или уронил топор на ногу, непременно надо сказать... – Я нарочито запнулся. Они замерли, предвкушая, как я бабахну. – Ну, например, «блин», – с улыбкой обманул я их ожидания. Они облегчённо и разочарованно перевели дух. – Тогда сразу становится не так больно. Если это говорить на каждом шагу, если читать в книжках и газетах, то что тогда останется для молотка по пальцу? Лекарство ведь чем реже принимаешь, тем лучше оно действует. А тут лечиться станет нечем! Хорошее снадобье испортят... Вы представьте, чем придётся снимать боль, скажем, монтёру, когда ему на ногу рухнут тяжёлые клещи? – Я выждал и голосом типа «дама с камелиями» с придыханием воскликнул: – Ах, боже мой!

Молодёжь захихикала от души.

Не знаю, моя ли в том была заслуга, или так оно случилось бы и без моего натужного юмора, но наша компания в полном составе пренебрегла воззванием и послала его подальше. В смысле – дальше.

– Кто же вы всё-таки по работе? – спросила Надежда, когда мы единодушно спровадили на соседний стол дурацкую и подлую бумажку. – Я никак не могу понять. И Серёжка темнит... Я уж и так и этак к нему подлещивалась – отделяется общими словами: чиновник, служака... А мне иногда кажется, вы тоже писатель.

– Ну что ты, Надежда, – сказал я. – Ты мне льстишь. Я всего лишь клерк в аппарате правительства. В Наркомате по иностранным делам... Ох! Вот опять перепутал. Никак не привыкну... По новой конституции надо говорить не «по иностранным делам», а «иностранных дел»... В общем, бумажки перекладываю.

Она смерила меня взглядом; сперва он был просто недоверчивым, а потом как-то вдруг пропитался укоризной.

– Тоже врёте, – сказала она.

Оттого, что мне не поверили, стало обидно.

А может, любопытно. Что же, и она видит меня насквозь, как Маша? Для меня это уже профнепригодность.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.